Александр Клягин

Клад Мамая



Editions du Scribe
Paris

АЛЕКСАНДР КЛЯГИН

КЛАД МАМАЯ

КАСПИЙСКАЯ БЫЛЬ

ПАРИЖ
1948

I

— В этой балке, барин, змею раз убили. Огромную, преогромную.... Теленка, проклятая, заглотала, да подавилась, — ребята и пришибли ее.

Почтовый ямщик постройки астраханской железной дороги повернулся на козлах и смотрел на своего седока, совсем молодого студента с золотыми буквами на плечах форменной тужурки. Ямщик вез его, в июле 1905-го года, вместе с почтою на соленое озеро Эльтон, будущую станцию железной дороги.

— Говорят люди: теленка, а может, ягненка? — ухмыльнулся ямщик, видя, что седок молчит, пожалуй, и сомневается. — Какъ, барин, думаете, может она теленка заглотать?

— Думаю, нет.

— Врут, стало быть... Мели, Емеля, твоя неделя! А ягненка может?

— Кто его знает, я больших змей не видел. У нас в Орловской губернии их нет, — гадюки только и медянки, да те маленькие.

— А у нас есть во-какие! Толщиной с твою голову, а длиной сажени в две. Право слово! Видел я раз такую, у которой на хвосте что твой колокольчик. Ей-Богу, правда! Из Туркестана, говорят, забежала.

— Не может быть. Таких в России нет; в Индии разве, да до Индии далеко.

— Право слово, барин! Сам видел. Шипела, хоть уши затыкай...

Ямщик обрадовался: заинтересовал таки седока, а поговорить хотелось. И чего только ни рассказал он ему за полтора дня езды по степи! Раньше всего, понятно, поговорил о бабах, о девках: седок то молодой! Посплетничал потом про односельчан, про их жен и дочерей: не забыл и хуторянина, у которого провели они эту ночь на правах степного гостеприимства и у которого было три дочери, одна другой лучше, — но таких, что, ой-ой, не дотронешься! Говорил он и про войну, которую вели где-то с Японией, да неудачно, про молокан, колонистов, хлыстов; не касался он только самой каспийской степи, по которой ехали они вторые сутки на паре лошадей, ехали с раннего утра до позднего вечера, — молчаливой, таинственной, раскаленной июльским солнцем, бесконечной.

— Тут змей, братец ты мой, — продолжал он, — что у хорошей бабы вшей. И чем ближе к морю, тем больше. А на самом Эльтоне — и не приведи Господи! Мне фельдшер-поляк говорил, проходу там от них нет; осенью на койку лезут, проклятые, под одеяло забираются, — тепла ищут, вот какие! А уж тарантулов, скорпионов да другого прочего — хоть пруд пруди.

— Ты часто на Эльтоне бываешь?

— Каждый месяц. Хлеб вожу, колбасу вяленую да другого чего, — не умирать же там людям с голода... Почту тоже... Пассажир какой подвернется, как

вы теперь, и того подвезешь; только на Эльтон мало кто едет. Фельдшера раз возил, в другой — техника какого-то из Саратова, да вас теперь. Вы там что делать будете? служить?

— Служить.

— Землю, значит, мерить?

— Что поручат.

— Так... Выходит, вы техник. Начальником там будете, над Хассимовым, что ли? Выше или ниже фельдшера?... Дело другое, говорите. Так, так... Чего же вы в Савинке не остались? У нас там не жизнь, а малина! Девки, что твои огурчики, — только подмигни какой. В Ханском саду весной, летом, под кусты не заглядывай. А на Эльтоне, братец ты мой, змеи да тарантулы. Есть нечего, а уж про воду — и не говори, — вся соленая. А что до баб — узелок себе завяжи.

— Почему вы называете сад Ханским? Хан его садил, что ли? Не знаете, кто и когда?

— Кому же больше? Понятно, хан. А какой — пес его знает! Не сам хан, понятно, а персюки и китаезы, —те по этим делам собаку съели. Штука-то, брат мой, была мудреная. В голой степи, где деревьев и помину нету, — да, почитай, никогда и не было, — целый лес, сукины коты, развели! Торгун перегородили, видел, какую плотину устроили? — да так, что ни одна весенняя вода ее не одолела, — озеро верст в пять длиной и сделали... На его берегу развели сад для какой-то из ханских жен, которой, вынь да положь, сад потребовался! Там и дворец стоял, лет-

ний, говорят, разборный. Был он весь из дерева, в золоте да в зеркалах. Сожгли его потом русские или турки, да так, что теперь и не узнаешь, где он стоял. Мальченком был, сам в саду копал, кое-что попадалось... — Эй ты, леший! Куда попер? — Ямщик повернулся на козлах и, подобрав вожжи и кнут, стал хлестать лошадей, стараясь направить коренного вновь на тропу, местами не видную из-за песка, степной травы и темного мха. Лошади шли шагом, печальные, опустив головы, устав от долгого пути, от пекла. Ямщик забыл о них, заговорился, — они и выбирали дорогу на неровностях степи, на кочках и буераках. Бричка подпрыгивала, стучала крыльями и пружинами, звенела болтами, гайками. Студент взглянул на тропу, оставшуюся сбоку, и понял, почему умный конь бросил ее: вся она была покрыта небольшими бугорками и норками около них. Из многих норок выглядывали мордочки каких-то смешных зверьков. Давно уже студент приметил эти бугорки, но принимал их за кочки солончака, за степные растения.

Смотрел он и на раскаленное свинцовое небо без облачка, без тучки, где иногда высоко-высоко парили степные орлы, коричневые, с белыми хвостами, злые, прожорливые, настоящие хозяева каспийской степи, — ничто им здесь не угрожает, они сильнее всех.

Несколько раз лошади вспугивали куропаток, которые не улетали, а бежали одна за другой, стара-

ясь поскорее спрятаться в траву. Увидели раз на горизонте степную лисицу.

— Какие они у вас, лисицы-то? — спросил тогда студент, рассматривая спокойную, уверенную рысь зверя.

— Кто ее знает?... Соли на хвост ей не насыпешь... Лисица, как лисица. — Ямщик засвистал, заулюлюкал. Лисица остановилась, посмотрела на лошадей, на бричку с седоками и, не спеша, побежала дальше.

Солнце жгло сильнее и сильнее. Шерсть коренника и пристяжки потемнела от пота, пена белела на ляжках, под шлеей, под хомутами, — дышать при таком пекле трудно, даже не двигаясь.

— Что это за зверь такой? — спросил, наконец, студент, видя, что бугорки и норки во все стороны степи становятся гуще и что умный коренник, не слушая ямщика, сам выбирает дорогу, опасаясь попасть копытом в дыру.

— Это?... Суслики, волк их зарежь! — и ямщик ударил изо всей силы кнутом по ближайшей норке, у которой сидел на задних лапках желтенький зверек, в двух шагах от брички. Быстрый, как молния, тот успел юркнуть в норку, — кнут хлопнул по земле.

Обиженный неудачей, ямщик стал стегать по норкам направо, налево.

— Что-ж вы, барин, сусликов не видели, что ли? — недоверчиво спросил он через минуту.

— У нас их нет.

— Нет?... — Ямщик удивленно покачал головой: — Ну и страна у вас тогда! Там, значит, не житье, а масленица... А у нас тут с ними чистая беда, — все сжирают, проклятые! На одной десятине, как разведутся, тысячами поселяются, — проехать негде. Плодливы они, как кошки, а уж разбойники — и говорить нечего: все, что на полях найдут, по норкам растащут, не стоит и жать.

— С ними, значит, борются?

— Не пропадать же с голоду... Как? Водой заливают. Только лить надо умеючи. Он делает ямку в два яруса, — от дождей, значит, — в верхнем и живет. Влить надо сразу, чтобы до второго яруса вода успела бы дойти. Он тогда из ямки — скок! А его палкой! Это дело баб и ребят; только надо народа побольше да воды, — а где ее взять тут, воду-то? Еще лучше керосина в норку, да поджечь. Только это дорого... Ишь, что их понасыпало, паскуды этой, что тебя прослабило! Лошадей давно не видели, черти куцехвостые, что-ли? — обратился он к сусликам, как бы ожидая ответа и злобно рассматривая бугорки и норки направо и налево.

Бугорки от вырытой сусликами земли были видны теперь всюду, на расстоянии нескольких аршин друг от друга, иногда теснее, колониями. Некоторые норки имели по два выхода. Суслики неторопливо перебегали в припрыжку, занятые своими делами, другие, очевидно, хозяева норок, сидели у входов на задних лапках, спокойно, с любопытством рассматривая лошадей и бричку. Они поводили усика-

ми, перебирали что-то передними лапками, странно посвистывая.

Ростом суслик с крупную крысу, серо-желтовато-го цвета, с серебристым брюшком и забавными черными глазками, — зайченок в миниатюре, только с маленькими ушками. Земля около каждой норки была загажена: суслики заботились, значит, о чистоте внутри жилищ, предоставляя солнцу довершать остальное.

— Их не едят, сусликов-то?

— Кто их станет есть, падаль такую? Орлы разве да лисицы.

— И шкурки никуда не идут? Мех же красивый!

— Кому он нужен? Никуда, понятно. Правительство платит по копейке за хвост, чтобы истреблять сусликов, да стоит ли? Хлопот больше. Когда начнут сильно забижать, выходим целыми деревнями с бочками воды да с палками, — ну и обороняемся. А то канавками окапываем посевы, а ребята стеречь должны, чтобы суслики не перебежали канав. Немного помогает. А шкурка? Какой в ней шут? Тепла в ней — кот наплакал... Здесь, вишь, желтоватые, — это суслики, они глинистую землю любят, а на юге, поближе к морю, где песку побольше, там бурундуки, те поменьше, посерей...

Ямщику надоело сидеть, или суслики так ему осточертели, — он соскочил с брички, бросив вожжи на козлы, и стал хлестать ременным кнутом по норкам, проворно прыгая из стороны в сторону. Суслики рассматривали с любопытством странную фигуру и

лишь в последний момент прятались в землю, когда ямщик был в двух-трех шагах от них. Удары кнута сыпались по бугоркам, по ямкам, поднимая песок, пыль...

Лошади шли тихим шагом, понуря головы, отдыхая от жары. Дуга коренника сбилась в сторону, — один гуж был крепче другого; пристяжка слегка отставала; ее лямка болталась, била по ногам, но измученная лошадь не обращала внимания, — пыталась ущипнуть съедобную травку и жевать ее, несмотря на удила.

— Помочь, что-ли? — студент спрыгнул с сиденья, — захотел размять истомленные жарой ноги, погоняться за забавными зверками.

— На змею не наскочи, а то на тарантула! Тут их страсть сколько! Жиганет какой, — не обрадуешься!

Сам же он прыгал в сторону все с большим азартом.

— У тебя сапоги?... Тогда валяй, через голенище не прохватит... Ага! Зашиб одного! — каблуком с подковой он раздавил оглушенного зверька, не успевшего увернуться от удара, и сплюнул: — Ишь, гады, сколько их!

Утолив злобу, он успокоился, пошел к лошадям. Студент тоже поспешил к бричке, сгорая от солнца, жестоко страдая по непривычке от малейшего движения в этой духоте.

— У нас, барин, еще ничего, — продолжал ямщик прерванный разговор, подобрав вожжи и подгоняя передохнувших коней. — Эти, вишь, бегают плохо,

особливо по песку, а вот подальше, к Туркестану, есть такой же бурундук, или турухтанчик, что ли, так у него пальцы подлиннее и с перепонками. Сам я не видел, ребята говорили. Энтот, брат ты мой, бежит по песку, что ты по полу! За ним и верхом не угонишься... И тот — жить умеет. Вылезает он из норы в марте, когда погода станет хорошая. Со своей сусличихой позаймется, детей понаделает, запасов себе в норку понатаскает, да в мае, когда жара настанет, опять в землю и спит там девять месяцев... Вот он какой!

Ямщик стегнул кнутом по лошадям и полез в карман за трубкой и кисетом.

— А когда мы на Эльтоне будем?— студенту хотелось укрыться, наконец, от палящего солнца, от раскаленного солончака, от южного неба, как бы залитого расплавленным свинцом.

— Верст пятьдесят осталось. К вечеру приедем... А вы, что ж, на Эльтоне от жары укрыться думаете? Там куда *как* жарче. О тени — и не думай, о своей разве. От Эльтона до ближайшего деревца верст с сотню будет. А уж с водой там — совсем беда: одна соль кругом да нечисть всякая... Не жисть там, а горе лукавое! Как жить-то будете?

— Другие живут, проживу и я.

— Кто другой-то?... Фельдшер был, да и тот на лето смылся, — я его и отвозил до Красного Кута. Теперь только, гляди, Хассимов там да шпана коекакая, шесть-семь рабочих с ним.

— Кто такой Хассимов? Старший рабочий, кажись?

— Он самый. А кто он — пес его знает. Из татар, должно, из благородных, да татарин он плохой: все ест, что попадется: и колбасу, и свинину. А зачем он на Эльтоне, разве поймешь? Живет там второй год, никогда не уезжает, а воду насобачился искать здорово, лучше и не надо, — все по степи да и по балкам шляется. На Эльтоне без Хассимова — хоть караул кричи.

Ямщик положил на козлы вожжи и кнут, оставив в покое лошадей, которые сейчас же перешли на шаг, и начал бережно развертывать кисет, обильно вышитый бисером. Добравшись до табака, он достал щепотку махорки, набил, не спеша, заскорузлым пальцем деревянную трубку и стал высекать старательно искру огнивом.

Резкий, пронзительный запах загоревшегося, наконец, трута и за ним махорки резнул студента: он отвернулся и стал всматриваться в бесконечный простор степи.

Ему припомнилось, что каспийские степи (бывшая стоянка Большой или Золотой Орды) тянутся от Волги до Туркестана; раньше то было дно Каспийского моря, но вода, под действием солнца, испарилась и обнажила огромную поверхность. Теперь Каспийское море занимает немного меньше пятисот тысяч квадратных километров, а когда-то оно было чуть не в три раза больше, соединялось, возможно, с Черным и Аральским морями. Дальнейшему высы-

ханью Каспия препятствует Волга, которая приносит в него столько воды, что одна она способна поднять уровень моря на шестьдесят сантиметров в год. Атмосферные осадки и другие реки пополняют испарение, которое исчисляется при теперешней площади Каспийского моря в один метр в год, так что дальнейшего высыхания его нет и, пожалуй, не может и быть. Каспийские степи, бывшее дно моря, тянутся почти на миллион квадратных километров и, грубо говоря, имеют в ширину, с севера до Каспийского моря, больше шестисот километров; в длину ж, от Волги до Туркестана — тысячу с лишним. Вся эта огромнейшая поверхность никогда не была покрыта лесами, нет у нее и настоящей степной растительности, так как почва ее, солончак, еще сплошь пропитана морскими солями. Там, где дожди успели отмыть соли, солончак перешел в солонец и затем в солод. Но, на несчастье, воды вымывают не только соли, вредные для растительной жизни, но и полезные, унося их в Волгу и в Каспийское море или же загоняя вглубь почвы. На бывшем дне моря имеется несколько огромных котловин, впадин, вероятно вулканического происхождения. Самая большая из них — Эльтон и, в ста километрах южнее, Баскунчак. Обе эти впадины заполнились солью, что объясняется следующим образом. Атмосферные осадки образуют ручьи и речки, часть которых впадает в Эльтон и Баскунчак. Влага вымывает из почвы соли и несет их в эти два озера в таком количестве, которое превышает ежегодную потребность населения

всего земного шара. Солнце выпаривает воду, соль же остается и откладывается, беспрерывно увеличивая неисчислимый запас ее в этих озерах.

К сожалению, разработка соли в Эльтонском озере была невозможна из-за отсутствия средств перевозки. Одной из целей постройки астраханской линии и являлось желание вывозить в Россию замечательную соль Эльтона, которую можно просто брать лопатой. Соль Баскунчака, расположенного ближе к Волге, разрабатывалась и вывозилась по железнодорожной линии (в двадцать пять километров длиной) до пристани Владимирской, откуда соль шла на рыбные промыслы Каспийского моря, в устье Волги и в Россию, по водной системе.

Достопримечательностью Баскунчака, кроме соли, была гора «Большое Богдо», выжатая вулканическими силами из недр земли. Гора эта поднимается почти отвесно на сотню метров над уровнем озера. В Эльтоне же, как студент знал, ничего замечательного не было, кроме развс «Сарая», или «Ханской Ставки», бывшей столицы Золотой Орды, в тридцати километрах от озера. Вокруг самого Эльтона не было ничего, не было даже возвышенностей, одна лишь беспредельная степь, солончак: соль всюду, соленая вода в озере, в речках, соленые утки и креветки, лишь кое-где балки, прорытые ливнями, весенними водами.

— А когда бывают у вас дожди? — спросил студент, совсем измаянный зноем и тряской по степной тропе в безрессорной бричке.

— Дожди?... Как пойдут осенью, так не узнаешь, куда и деться. А летом дождей не бывает. Ливни разве, да такие, братец ты мой, что держись только!

Ямщику хотелось опять поговорить, рассказать. Он повернулся на козлах и снова полез за кисетом.

— Ливни, говорю, такие выпадают, что вода валом валит и все сносит. Была тут, скажем, ровная степь, а после ливня, глядишь, балка! Прямо, как весной... У нас, знаешь, весна какая? Стриженная девка косы заплести не успеет, а снега нет, как нет! Верно говорю, сам увидишь. В конце зимы выпадет снегу видимо-невидимо. Ни пройти тебе, ни проехать. Мороз и холод такой, что из хаты носа не высунешь, а вдруг теплый ветер подует, солнце станет враз жаркое, прежаркое, — снег и начнет таять, да так, что на твоих глазах его и нет! А земля, еще застывшая, впитать воды в себя не может, — вода и бежит в Волгу да в Каспий. А тут еще — с Урала. Горой катит, братец ты мой, стеной бежит! Подвернись — с лошадьми и с повозкой унесет. А когда вода схлынет, глядишь, ни снежинки. Все враз чисто, все колдобины полны-полнехоньки, в балках не ручьи, а потоки. И через день, другой, вся степь в цветах. И каких там только нет, самые что ни на есть диковинные! А тут тебе и птица всякая, — с юга, значит, тянется, кормиться летит. Тут тебе и гуси дикие, и лебеди, и утки. Право слово говорю — аж чудно!

Ямщик вновь занялся трубкой, студент же, забыв про жару и про усталость, не отрывал глаз от степи,

любуясь ее беспредельным горизонтом, который нигде не прерывался; не было там ни холмов, ни деревьев, ни кустарника. Как очарованный, смотрел он и не мог верить, что всего лишь несколько дней, как с утра до ночи он был в институте, в душном Петербурге, закованном в кирпич и гранит, откуда вдруг, как бы чудом, перенесся внезапно в эту бесконечную девственную степь, где не чувствовалось ни руки, ни присутствия человека...

II

— Василий Васильевич! А Василий Васильевич! Заснули? Обедать пора. Вставайте!

У полога киргизской юрты, — временного приемного покоя Эльтона, будущей станции астраханской дороги, стоял, улыбаясь, старший рабочий Хассимов и звал Зорина, приехавшего несколько недель тому назад на работы, в качестве студента-практиканта. Тот спал на больничной походной койке, в расстегнутой рубашке, студенческих брюках и носках.

— Прилег отдохнуть и... вот, — протирал он утомленные палящим солнцем глаза, — задремал немного. Уж очень ноги замаялись и глаза устали: очков-то темных у нас нет. Одну минуточку, сейчас буду.

— Спешить некуда, завтра день нерабочий. Только сейчас спать не годится. Ночью успеете. Подходите к огоньку, я обед стряпаю. Ребята смылись, так я сам... Яйца скоро будут готовы.

Хассимов пошел к другой юрте, где чадил огонек костра. Иного жилья, кроме этих двух юрт, на Эльтоне не было: в них временно помещался персонал, присланный для подготовки к работам, — строительная горячка должна была захватить вскоре и эту пустынную часть степи, где была намечена линия астраханской дороги.

Студент стал натягивать свои высокие сапоги вар-

шавской работы, в которых он проездил все предыдущее лето на паровозе, перейдя на второй курс Технологического Института. Для разбухших от пекла ног за целый день работы на солнце они казались чужими.

После трех недель пребывания в степи родная мать не узнала бы Зорина. Кожа на лице, на шее обветрилась, несколько раз сошла, нос вздулся и покраснел, как томат, и сам студент, здоровый, загорелый, превратился чуть не в краснокожего. Испарения соли, магнезии, проникли во все поры его тела: духота Петербурга, паровое отопление, табак товарищей в аудиториях, в чертежных — все испарилось, выветрилось.

От студенческого костюма Зорин сохранил лишь синие форменные штаны, — других, правда, у него и не было, — их замечательное диагональное судно не боялось даже зноя каспийской степи. Надевал он иногда и фуражку от нестерпимого пекла в середине дня, — с сапогами же не расставался — они были единственным его приобретением от прошлогодней практики в Польше, когда он проработал там три месяца помощником машиниста. Не прожгли их тогда искры из топки паровоза, не одолели их и пески соснового бора, там, за депо, где студент и его начальник, машинист, усатый пан Харкович из Варшавы, вместе ухаживали по вечерам за молоденькой евреичкой, и ухаживали не без успеха... По русски та не говорила ни слова.

— Пане, о чем она мне толковала? — спросил

как-то раз практикант, возвращаясь из бора после «занятий».

— Вам?... О карбованце мувила да о новых ботинках.

— Да?... А вам?

— Мне?... Ха-ха-ха!... Все свою маму вспоминала! — ухмылялся самодовольный пан начальник, разглаживая снизу вверх свои длинные нафабренные усы.

Вспомнил Зорин, рассмеялся: вот теперь бы ее сюда, на Эльтон! Сошла бы здесь за первую красавицу, — «на чужой сторонушке и старушка — Божий дар...» — и студент стал натягивать второй сапог.

На паровозе сапоги эти промазались в ту пору салом, маслом, стали как блиндированные. Не один раз предохранили они Зорина и на Эльтоне от крупных неприятностей, быть может, и от смерти. В пылу работы с нивеллиром, стараясь поймать на волосок окуляра отметку рейки, он не раз наступал на притаившуюся в солончаке змею, и та, спасаясь, кусала его, но прокусить сапога не могла. Давил он каблуком скорпионов, желтых и черных, давил тарантулов, бурых волосатых пауков, которые кишмя-кишели вокруг Эльтона; встречались там и элегантные фаланги...

Верхняя кошма (войлок) юрты была снята, полог ее раскрыт настежь, все же в ней было еще жарче, чем снаружи, — так раскаляло ее солнце за целый день; походила она скорее на парник, только пахла

бараном и верблюдом из-за кошм, покрывавших ее.

Одна юрта предназначалась для рабочих, другая — для фельдшера и для приемного покоя. Так как больных не было, то с фельдшером поселился старший рабочий из интеллигентов, татарин Хассимов; на койке уехавшего в отпуск фельдшера и спал студент-практикант, — другого жилья на Эльтоне для него не предназначалось. Хотел было Хассимов перебраться к рабочим и предоставить приемный покой студенту одному, но тот отказался. Так и стали жить они в одной юрте, пока не вернется фельдшер, семь же рабочих — в другой. Юрты были одинаковы, обе старые, купленные по случаю у киргизов.

Свою юрту рабочие раздели для летней поры, оставив ей лишь голые деревянные ребра. Внутри были сложены скудные пожитки, кое-какой провиант да инструменты для работы. На кошмах же, сняв их с юрты, рабочие и спали, разложив их вокруг под открытым небом. Отлично было спать в степи летом и на воздухе, даже без накомарников, — не водилось на Эльтоне ни комаров, ни гнуса, ни мошки! Не было пресной воды кругом, ни болот, ни зарослей, где бы эти паразиты могли разводиться, да и самый воздух соленой степи убивал их. Возможно, что он истреблял не мало и других бацилл и микробов, — недаром с незапамятных времен киргизы считали Эльтон целебным и приезжали из-за сотен километров посидеть в черной соленой грязи озера, подышать его испарениями.

Не мало водилось там зато другой нечисти. В каспийских степях нельзя сесть на землю без войлока, без куска кошмы, — из-за тарантулов. Укус этого ядовитого земляного паука, не редко до шести сантиметров длины, покрытого темной шерстью, иногда смертелен. Сам же он боится только баранов, даже ягнят: единственного животного, для которого укус тарантула безопасен. Наоборот: сам тарантул — лакомство для баранов! Они ищут тарантулов, выкапывают из земли и тотчас пожирают. Поэтому-то не найти тарантула и на расстоянии десятка метров от того места, где он зачуял барана или овцу; страшит его даже один запах их шерсти! Скорпион — другое дело: от них спасает только осторожность. К счастью, на Эльтоне их было немного, так же, как и фаланг, длинных, коричневых пауков, быстрых, увертливых, укусы которых чрезвычайно болезненны, а зачастую, будто, и смертельны.

Никаких лекарств от этих гадов на Эльтоне не было, да и знала ли их тогда русская медицина?

Лечили от укусов киргизы средством времен самого Чингис-Хана. Притотовлялось оно так: набирали взрослых тарантулов, доводили их каленым железом до бешенства и в таком виде погружали их в растопленное сало. Это сало, пропитанное ядом, и прикладывали к укушенному месту; давали то же сало пострадавшему и внутрь; прибегали и к выжиганию укушенного места, если успевали захватить во время.

У юрты рабочих горел небольшой огонек, на кото-

ром обычно готовили незатейливую пищу, кипятили воду для чая.

— Ну, Хассимов, и развели вы вонь! — студент сел на постланной кошме: — На всю степь! Три недели, как я на Эльтоне, а не могу привыкнуть к кизяку и к его запаху.

— Обживетесь, принюхаетесь... Оно и правда, он у нас неважный, чадит больше. Ребята делают его, спустя рукава. На хуторах же попадается куда лучше: бабы умеют его делать....

Хассимов поворачивал на сковородке куски колбасы. Небольшого роста, плотный, широкий в костях, он был смугл, с быстрым взглядом, лет сорока. Глаза выдавали его восточное происхождение; широкий лоб с глубокими релизами, переходившими в лысину, говорил об уме, о пережитом. Несмотря на жару, он был в неизменном альпаговом пиджаке, в сапогах с когда-то лакированными голенищами и в летних нанковых брюках, потерявших цвет и форму от времени и солнца.

— Как его делают, кизяк-то? Признаюсь, я никогда не видел.

— Дело не трудное, а хорошо сделать не просто. Собирают навоз в степи, по тропам, на становищах, — верблюжий, лошадиный, овечий, какой попало. Размачивают в воде, делают жидкую кашицу и подбавляют к ней в мелких кусках степной травы, соломы, растительных тяжей. Смесь эту, в виде густого теста, нарезают кирпичиками и сушат на солнце.

Из дальнейших объяснений Хассимова выходило, что хозяйки хранят кизяк, возят с собой, готовят на нем пищу; им же отапливают хаты, дома, юрты, для выхода дыма из которых устраиваются отверстия вверху. Иного топлива в степи не существует. На нем готовили пищу когда-то монголы, им же обогревались половцы, скифы, сарматы. Готовят теперь на нем и русские. За сотни, тысячи лет топливо это осталось таким же примитивным, отвратительным, но спасло миллионы людей от голода, холода.

— Из кизяка и дома в степи строят?

— Нет — из сырца. Это такой же раствор навоза с соломой и травой, только в него кладут побольше глины, солончака и хорошенько мешают. Смесь эту режут в виде кирпичей, которые сушат на солнце, — отсюда и «сырец». Из него выстроены здесь хутора, дома в деревнях, даже в городах: обожженного кирпича здесь ведь не найти — топлива нету.

Яичница поспела. Бутыль кумыса стояла тут же, можно было и обедать. Кумысом, перебродившим молоком кобылиц, Зорин и рабочие, собственно, и питались; доставляли его киргизы из окрестностей в больших бутылях по пятнадцать, двадцать копеек за четверть ведра. Свежий кумыс слаб, постояв — бродит, а брожение увеличивает содержание алкоголя, которое доходит до четырех-пяти градусов; кумыс становится тогда крепким, кислым, но вкусным, питательным. Трудно найти другой напиток, такой же здоровый, целительный; не удается при-

готовить подобного в других странах, в другой обстановке. Порода ли кобылиц Заволжья, из молока которых приготовляется кумыс, влияет на это, трава ли каспийских степей, которой кормятся лошади, сам ли воздух степной, наполненный запахами трав и солей, раскаленный солнцем?

С приезда на Эльтон практикант окунулся в дикую, примитивную жизнь, как жили люди тысячу лет ранее. Ничто кругом, кроме проводов фонопора, геодезических инструментов, да самих людей, не напоминало о современной жизни: озеро, соль, сама степь и редкие кочевники-киргизы — все осталось таким же, каким было и при нашествии монголов.

Днем степь безмолвна, замерла от жары; когда же солнце садится и зной спадает, степь оживает. Дневная жара утомила почву, жалкая растительность увяла, поблекла: животные, насекомые зарылись в землю в ожидании вечера, заката. Только ящерицы, небольшие — серенькие, и огромные — зеленые, не боятся жары, раскрывают рты от удовольствия на самом пекле. Днем в степи обычно ни малейшего ветерка, солончак жжет ноги огнем. Лишь с заходом солнца появляется ветерок, легкие отходят, дышится свободнее. Растения оживают, их свернутые в трубочку листики расправляются. Насекомые вылезают из земли, спешат по своим делам; змеи, пауки, звери — все охотятся, чтобы утолить голод перед темнотой. То там, то здесь в небе орлы высматривают неосторожных куропаток, запоздавших сусликов.

На час-другой степь оживляется, спешит жить, чтобы уснуть, когда южная ночь окутает ее.

— Где же наши лопаты, ломы, Хассимов? — студент давно пообедал и осматривал в сумерках ободранную юрту: — В прошлую субботу еще я заметил, что они исчезли, вернулись только в понедельник. Сегодня опять... В чем дело?

— Куда им деться, должны где-нибудь быть. Красть тут некому, — татарин мыл сковородку.

— Однако, их нет! Поглядите сами. Рабочие взяли их с собой, что-ли? Но для чего?

— Вы думаете?

— Не думаю, уверен... Что они делают нашими инструментами? Работают где-нибудь по воскресеньям, помогают киргизам или хуторянам? Нам же с вами может влететь... Вот, значит, почему они каждый понедельник еле ноги волочат. Да вы отвечайте, бросьте посуду! Куда они ходят?

— Чего вам беспокоиться, Василь Васильич? Балуются, ну, и берут инструмент. Дороге от того не убудет.

— Где балуются? как?

— Как все... В степи... Ищут, где попало... Каждому ведь лестно найти что-нибудь.

— Что ищут?

— По курганам шарят. Не мало здесь добра позарыто. Иной раз может и посчастливиться. Шлемы попадаются, кольчуги, а то и оружье какое.

— Раскопки же запрещены! За это можно ответить.

— Кому смотреть-то? Перед кем отвечать? На пятьсот верст — один урядник! — Хассимов пожал плечами, усмехнулся: стоит ли волноваться из-за такого пустяка?

— Что же они там ищут?

— Хорошего чего-нибудь. Золота, серебра, — у монголов вся сбруя ведь была в серебре. Да давно уже люди добрые повытащили все, раньше нас с вами.

— Извините, я этим делом не занимаюсь и вам не советую.

— Каждому свое... Чем же они тогда здесь жить будут?

— Жалованьем, вот чем.

— Так... А кроме жалованья? Степью, да тем, что вокруг себя видят? Этим, Василь Васильич, не проживешь. Здесь тебе ни баб, ни кабака. И жрать нечего. Человек, Василь Васильич, живет надеждами, а не яичницей на бараньем сале да кумысом.

— Поэтому то они, по вашему, и поступили на постройку? Из-за надежд?

— Кто из-за чего. Одному — есть дома нечего, другой — с родней повздорил и ушел, куда глаза глядят. А какой просто деру дал, от солдатчины или от чего другого... Вот и сидят здесь, а надежда у каждого есть, всякому хотелось бы найти что-нибудь... Половцы и монголы тут не мало пооставили.

— Значит и вы, Хассимов?...

— А вы как думали? Из-за сорока рублей в ме-

сяц, да на всем своем? Штанов себе потом купить будет не на что, в конце лета-то.

— А постройка? Железнодорожный путь, который мы проведем?

— Кто проведет-то? — татарин оживился: — Нам то что от этого? Мы ее ведем что-ли, дорогу эту? Хозяева ведут да инженеры, — им за то и честь и слава будут, да и деньжата перепадут. А мы? О нас никто и знать не будет.

— Так... Что ж, по вашему, и я с ними?

— Как же иначе? Вы учитесь, теперь на практике. Будете потом инженером, начальником. У вас будущее.

Хассимов замолчал, приводя в порядок несложную посуду после обеда и стараясь экономить воду.

— Что же вы надеетесь отыскать?... И когда вы успеваете? Когда ходите воду искать?

— Понятно! Да я не так, как они, — копаются, как свиньи, где попало. Уж если я ударю, так здорово! На мелочишку меняться не буду.

— Поэтому, пожалуй, вы и просили меня показать, как работают с гониометром, с нивеллиром? Объяснить кое-что из космографии? Чтобы клад найти?

— Как же иначе, Василь Васильич? Монголы народ был ученый, с понятием. Голыми руками их не возьмешь.

— Выходит, вы не только надеетесь, но и знаете что-то. Для этого и учите геодезию. Сознайтесь! Конкурентом я вам не буду, сказать — никому не

скажу, мне просто интересно, как умный человек может верить басням, бабьим сказкам?

— Сказкам?... Почему сказкам?

— Откуда же могут появиться здесь клады? В этой степи-то, где ни кола, ни двора, ни собаки!

— Молоды вы, Василь Васильич, потому так и говорите! — Хассимов покачал головой. — Не люблю я болтовни, да, думается мне, что вы — наш брат. Можно, пожалуй, и сказать вам... Степь-то, по вашему, всегда такая была? А?... Нет, Василь Васильич, не такая! Здесь когда-то жизнь ключем била. Народу здесь жило да перебывало — непочатый край.

— Возможно, да клады-то откуда?

— Откуда? Ну, посудите сами... Живем мы с вами, как в прежние времена, как монголы жили, в юрте. А получили бы вы, скажем, откуда-нибудь золото да камни драгоценные, — куда бы вы их дели, чтоб я не украл, или кто другой? А?... Банка — нет, о несгораемом ящике — и не думай, доверить — некому и отвезти никуда нельзя. А в юрте у вас жена, да не одна, дети, рабы толкутся, товарищи... Куда-же спрятать?... В землю, Василь Васильич, другого хранилища нет! В самой, может быть, юрте под кошму и закопали бы. Или в балку какую нибудь, чтобы соседи не узнали, да жены не проболтались. А то и просто в степи. Вот вам и банк: матушка земля.

— А потом? Клады-то откуда?

— Потом?... Другие кочевники, скажем, напали

на вас, юрту сожгли, самого да жен ваших и детей в полон увели, — вот клад в земле и остался. А то вы в поход пошли или в набег, с кибитками, с женами... Один — откопает свое золото и возьмет с собой, чтобы в новом становище спрятать, а другой — на старом месте оставит, вернуться понадеется, чтобы опосля достать, — ан его и ухлопали. Вот тебе и другой клад! Я уж не говорю про ханов и про богатства, которые они собрали со всей Персии, с России, с Китая, — те тоже в землю прятали: некуда ведь иначе.

— Откуда у монголов было золото? Много ли его было в те времена-то? Ни Америки, ни африканских золотых копей тогда не знали.

— Другие народы работали. Золото спокон веков известно, во всех странах оно есть. Монголы, правда, его сами не добывали, да зато они обобрали тогда почти весь мир: Азию ограбили, Россию, Польшу, Венгрию, Кавказ, я уж и не знаю кого! Иконы брали, священные сосуды, драгоценности, все тащили, что было ценного, да выкупы за пленных, да ежегодная дань... Но и этого мало. Живого золота у них было сколько угодно. Какого? Невольников да невольниц, рабов, — вот какого! Мужчин и мальчиков покрепче, женщин и девушек помоложе, покрасивее... Считайте сами, Василь Васильич, после первого набега на Россию и на восточную часть Европы монголы угнали в неволю триста тысяч человек. Работники им были нужны, — монголы не пахали, не сеяли, не жали, на них другие работали, покоренные

племена и народы. Невольники и невольницы нужны были им для продажи. Для этой торговли и засели тогда в Крыму генуэзцы, а на Азовском море — венецианцы. Эти и устроили там конторы, построили города на концессиях, которые получили от монголов, — и все для того, чтобы скупать невольников и переправлять их в Византию, в Рим, в Африку, куда угодно. А обратно, чтобы корабли не плыли пустыми, они везли на юг России европейские товары — оружие, провиант, строительные материалы. Но монголы покупали немного, потребности их были небольшие, а покоренные народы доставляли им, как дань, все, что требовалось. Так итальянцы и торговали, пока царили монголы, и вывезли они с берегов Черного моря миллионы рабов, наживая огромные деньги, — на этом-то и создалось богатство Генуи, Венеции.

— Что же стоил такой невольник?

— Зависело от предложения, от спроса, от качества рабов. За крепких мальчиков платили дорого. Их обыкновенно охолащивали и поставляли в Рим, в Константинополь, туркам, где из них набирались полки янычаров. За мужчин обыкновенных платили от одной до пятнадцати золотых монет, за гребцов на галеры — дороже. За молодых девушек-девственниц, какие покрасивее, цена поднималась нередко до ста золотых. Понятно, не все пленные доходили до места назначения живыми. Скажем, половина умирала в пути, и возьмем среднюю цену в десять золотых за голову: выходит, за сто пятьдесят тысяч

пленных первого набега, полтора миллиона золотых монет! Половина главному хану, остальное делилось между монголами Золотой Орды, что дает по сотне, другой монет на человека, так как с Батыем пришло лишь четыре тысячи, остальное же его войско было составлено из покоренных народов: половцев, кавказцев, русских и других, которые в дележе не участвовали. И набеги свои монголы повторяли каждый год.

— Откуда вы все это знаете, Хассимов?

— Я кончил шесть классов и учился неплохо, а историей занимался и потом, особенно нашей, татарской, монгольской.

— Как же вы попали в рабочие? Не обижайтесь, я спрашиваю по товарищески.

— Я так и понимаю. От вас мне скрывать нечего. Из одного котла едим, в одной юрте спим. Отец мой был подрядчиком, строил дома на Волге, дело у него было большое и я — единственный сын. Когда я окончил шесть классов, отец приставил меня к делу, а потом мне его и передал. Сначала все шло, как нельзя лучше, да — строительный кризис. И вообще плохо пошло тогда по всей России. Тут вот и моя вина: не сообразил я, заупрямился, пошел против течения! Мне бы сократиться, рассчитать рабочих, казанской сиротой прикинуться, скидки у кредиторов просить, а я не захотел, гордость одолела. Японская война началась, я расплатился со всеми и остался без гроша. Повеситься?... А у меня жена, сынишка. Я и

ушел в степь. Надеюсь здесь подняться. Не так, так иначе, а разбогатею!

— Надеетесь найти клад?

— Для чего же другого я стал бы здесь сидеть?

— Выходит, у вас не только надежды, но и уверенность, данные, не вслепую же вы действуете?

— Понятно, не вслепую. И, правду сказать, я не с пустыми руками. Не сама грамата, а списочек с нее у меня есть.

— Грамата? Это еще что?

— Бумага такая, на пергаменте, с монгольских или турецких времен, по которой можно отыскать зарытый когда-то клад. Бывают граматы, ой, какие, мудреные! Не проста и моя, да я вам ее поясню.

По рассказу Хассимова выходило, что монголы, вернее китайские и персидские инженеры, которые на них работали, зарыли в степи сокровища одного хана и оставили секретные указания, чтобы можно было отыскать их впоследствии. Для этого надо определить координаты, отсчитывая их от определенной точки где-то на берегу озера Эльтона, смотря по направлению восхода и захода солнца в два определенные дня года. Нужно, следовательно, прожить на озере не менее двенадцати месяцев, чтобы определить эти координаты, а раньше того — найти отправную точку на берегу, в чем и заключалась главная трудность.

Студент не удержался, — так походило это на сказку, на шутку.

— Как можете вы, Хассимов, верить такому вздо-

ру? Могли ли монголы в тринадцатом или в четырнадцатом веке знать тригонометрию, основы космографии? Нашли вы вашу отправную точку? Нашел кто хоть какой-нибудь клад в каспийских степях? Никто и ничего!

— Вы думаете? Ошибаетесь, Василь Васильич! Не ждите только, чтобы тот, кто нашел, стал трубить о том на всех перекрестках. Тюрьма никому не сладка!

Кизяк, засыпанный пеплом, еле теплился, его едкий, удушливый дымок вился кверху. Южная ночь быстро окутывала раскаленную степь, чувствовалась уже ночная влажность, слышался быстрый полет ночных птиц, писк и предсмертный крик пойманого лисицей или степной совой хорька или суслика. Звезды, огромные, яркие, прорезали темный покров неба и беспрерывно мигали зеленоватым светом, как бы играя друг с другом. Снежно-белая соленая поверхность Эльтона стала голубовато-фиолетовой и бросала странные отблески на берега озера и на прилегающий солончак степи. Можно было теперь дышать полной грудью, отдыхая от знойного дня, наслаждаться беспредельным простором, красотой южной ночи, изумительным по чистоте воздухом «полынной» степи Каспия.

III

Ямщик оказался прав — жизнь на Эльтоне была трудная. Пришлось практиканту, наравне с рабочими, жить на их котле, питаться кое-как, часто одним черствым хлебом, «калачом», сухой вяленой колбасой, твердой как дерево, да кирпичным чаем. А к нему привыкнуть нелегко! Готовится он так. В котелок на огне кладут плитки прессованного чая, размягчают их, распаривают, чтобы раствор потемнел. Вливают затем туда же растопленное сало из бараньего хвоста-курдюка. В таком виде и пьют этот кипящий напиток. Он без сомнения питателен (чай — растенье, богатое калориями, витаминами, жир — еще богаче), но выпить его — надо иметь большую привычку или поголодать месяц-другой!

Доставляли кое-что съедобное и из Саратова, вместе с почтой, раз в месяц, но скудные запасы еды быстро портились от жары, а нищенские оклады не позволяли обзавестись своим хозяйством посерьезнее.

По зорям же, вечером и утром, особенно ближе к осени, гул стоял на озере и в камышах речки Смарагды от перелетной птицы. Тянутся перелеты эти обычно подолгу, — расстояние от теплой Индии до холодного, но богатого летом севера огромное — около пяти тысяч километров; заботливая, осторожная дичь послабее и отправляется в путь заблаговременно,

чтобы не переутомиться в дороге, проделать ее малыми этапами.

Пролетая над каспийской степью, кое-кто из пернатых путешественников и прельщается огромной зеркальной поверхностью озера Эльтона, надеждой найти там отдых и пищу. Тысячами садятся под осень на озере вальдшнепы, утки, гуси, лебеди, копаются в грязи, отдыхают, собираются с силами лететь дальше.

— Не постреляете ли, господин студент? — обратился как-то к Зорину один из рабочих, — поели бы в волю. На хуторе, у одного молоканина, самопал есть, волков зимой пугает.

— Ты брат, степняк, — уклонился Зорин, стрелок очень неважный, а уж охотник и того хуже: — Бей лучше ты!

— Мне нельзя, мне вера не позволяет: я старообрядец. Курицу зарезать, и то киргиза просим.

Самопал оказался, наверное, времен Пугачева, только, вместе кремневого, курок приделан пистонный. Достали на хуторе и самодельный порох, «зелье» называется, пистоны, дробь — из свинцовых пломб, нарезанных на кусочки. Траектория их при выстреле, понятно, своеобразная, ни одна на другую не похожая, но попади такой кусок — не сдобровать и дикому гусю или лебедю!

Дичи же на озере рано утром — видимо-невидимо! Гуси — важные, болтливые, гогочут, друг-другу что-то рассказывают. Утки заняты все время, копошатся без устали в грязи, хлопочут. Лебеди, гордые,

сановитые, расхаживают степенно, клюют изредка, как будто уважение оказывают. Какие-то еще большие птицы и между ними мелочишка: бекасы, вальдшнепы, болотные курочки всех величин, оперений.

Степь — голая, ни холмика, ни дерева; соль озера сверкает как алмазы, черная грязь вокруг нее, чудесная оправа, диаметром километров в тридцать!

Подошли на версту до птиц, дальше стали подбираться, ползти на животах по соли, — поверхность гладкая, укрыться негде. Подползли, метров пятьдесят остается, а птица беспокоится: гусаки кричат, ругают, видно, любопытных гусынь; утки, те более беспечны, радуются отдыху от перелета, спешат покопаться в грязи, на охотников — никакого внимания! Лебеди, те сторожкие, — головы подняли, всматриваются, что это за существа такие, ползучие?

— Стрелять? — прошептал Зорин: — В кого? в гусей? в уток?

— Куда попадет, в гущу!

Самопал бухнул, чуть не разбил практиканту плечо, правая щека три дня потом болела. Облако дыма, за ним тучей — десятки тысяч птиц! И с криками, гоготаньем, а может, и с насмешками, вся эта пернатая туча устремилась на другую сторону озера.

Вскочили на ноги охотники, надеялись по меньшей мере на десяток уток — ни одной! Не донесло? Промазали? В такую-то гущу?

Стали проверять дистанцию шагами, — двести метров, а не пятьдесят, как думали. На гладкой, бело-

снежной поверхности соли, глаз человека, даже охотника опытного, плохо определяет расстояние.

Чтобы не возвращаться с пустыми руками, избежать снисходительных улыбок, забили палками двух уток в камышах Смарагды, но уток местных, не перелетных. Сжарили их — в рот не возьмешь! Мясо соленое, пропитанное магнезией, как и все в окрестностях Эльтона.

Пришлось как-то раз Зорину поохотиться с киргизами и за дрофами, да куда там! Дрофа — огромная степная птица, раза в два больше хорошего индюка, бежит, как страус, — голова вперед, шея вытянута. Быстрый киргизский конь все же ее догоняет. Почувствовав опасность, дрофа помогает бегу крыльями — лошадь сразу назади. Охота эта забавная, киргизы готовы были скакать хоть весь день, да не студент-технолог! Киргизское седло, правда, покойно, удобно: на его мягкой подушке — как в люльке. Но для такой охоты все же надо быть природным наездником....

Жара же на Эльтоне стояла нестерпимая: ни дождя, ни тени! Отдыхали лишь по вечерам да ночью. Тарантулы, скорпионы, фаланги попадались каждый день, больше же всего надоедали змеи. Почему их было такое множество? На расстоянии двух километров, от юрты до озера, где велась шурфовка соли, практиканту приходилось убивать штук по десять! Забирались нередко они и на койки, а как-то раз, осенью, Зорин выпугнул одну и у себя из под подушки, — тепла там искала! Правда, они не были та-

кой величины, как рассказывал ямщик, но метра в два длиной попадались. Змей били палками, рейкой нивеллира, штангами для буренья... Замечательно, что, когда был уложен рельсовый путь, когда загудел паровоз и застучали вагоны, змеи исчезли с Эльтона, укрылись вглубь степей, где шум человека их не тревожил. Были ли они ядовиты, никто на Эльтоне не знал и не интересовался этим; считали для безопасности, что все змеи песчаного грунта опасны, — быть может, это и правильно.

Работы на постройке так захватили Зорина, что об институтских занятиях он и не думал; не интересовался ни политикой, ни неудачной войной на востоке, да и газеты на Эльтоне в ту пору не получались. Каждый вечер в юрте гудел фонопор, передавал из-за двух сот верст распоряжения начальника, инженера Кузьмича, который то просил поторопить с исследованиями воды и состояния грунтов под мостиками, то поручал изучить новый вариант линии в надежде сократить количество работ. Зорин и его рабочие были заняты с утра до ночи; работал он и по праздникам, — надо было спешить, постройка должна была вскоре пойти полным ходом.

Рабочие же, количество которых быстро увеличивалось, продолжали по праздникам уходить в степь, под предлогом отдыха, и там разрывали, по каким-то известным им признакам, курганы, могилы...

Хуже всего было на Эльтоне с водой. Речек пре-

ной воды в каспийской степи нет. В балках попадаются местами впадины, где весенняя вода задерживается в верхнем слое, более или менее очищенном от соли влагой, выпавшей в течение веков. В начале лета эта вода верхнего пласта земли не успевает еще смешаться с почвенной солью и годится для питья, но затем и она становится солоноватой, негодной. Приходилось поэтому постоянно искать новых мест в балках, где вода еще имелась и где почвенная соль ее не испортила. К концу же лета вода портилась солью повсюду, хотя и в разной степени. Пили тогда воду полусоленую, с магнезией, от чего страдали желудки, или обходились кумысом и на воде готовили лишь пищу.

Поисками воды занимался Хассимов, из-за чего он и пропадал в степи и по балкам с раннего утра, — рабочие прибывали, потребность в воде беспрерывно возрастала. Месяца через два по приезде практиканта на Эльтон там стояло уже полдесятка юрт, появились кибитки, палатки, оборудовали для зимы барак. Строился даже дом-казарма из бревен, которые доставлялись с Волги на лошадях и верблюдах. На Эльтон приехали артели, подрядчики, подходила линия, которую насыпали грабари с Украины; их белые свитки, пение по вечерам и пляски оживили Эльтон. Но земляные работы по ровной степи были незначительны и малороссы скоро ушли на юг, к Астрахани.

Потеряв надежду найти достаточный запас пресной грунтовой воды, решено было устроить пока пруд,

чтобы собрать побольше весенней воды, по примеру монголов.

Занятый с утра до ночи, Зорин забыл о мечтах Хассимова найти клад, не ходил и на раскопки.

Раз как-то рабочие принесли ему выкопанную из земли кольчугу, чуть не в пуд весом, из заржавленных проволочных колец. Страшный удар сабли или топора разрубил ее когда-то от плеча до поясницы, а с ней, понятно, и ее владельца. Попадались иногда шлемы, по большей части изуродованные, наконечники стрел, копий, стремена; все это бросалось тут же, как неценное, никчемное.

Другой раз молодой расторопный парнишка-рабочий притащил, как это ни удивительно, римский меч с орлом на рукоятке. Отлитый и откованный из одного куска бронзы, с выгнутым эфесом, короткий, прямой, с зазубренными лезвиями клинка, он сильно удивил Зорина.

— Как мог попасть сюда меч римского легионера?

— Все тут побывали, — Хассимов был невозмутим. — Но скажите, Василь Васильич, как могли римляне победить такой штуковиной чуть не весь свет? Он же не уручный! — и татарин махнул мечем в воздухе. — А нам для кизяка пригодится. Его и чистить не надо, целиком бронзовый!

Так, гордость Рима, современник, возможно, Цезаря и свидетель его славы, нашел себе мирное применение на Эльтоне почти две тысячи лет спустя.

Однажды осенью Хассимов предложил студенту пройти с ним к устью реки Смарагды, через кото-

рую, вблизи станции, строился высокий деревянный мост. Впадающая в озеро река эта не раз удивляла Зорина: летом ничтожная, весной же, по словам киргизов, бешеная от тающего снега. Воды ее нельзя и в рот взять из-за соли и магнезии, рыбы в ней нет никакой, водятся лишь креветки, малюсенькие, несъедобные, которые отличаются от морских только величиной да количеством ног. В самом русле Смарагды — жалкий камыш; как ухитряется он расти в соленой воде, чем он питается — нельзя себе и представить!

Оба берега Смарагды — солончак; кристаллы соли и магнезии хрустят под ногами, на солнце они как драгоценные камни, — то белые как алмазы, то голубые, то розовые.

Хассимов знал Смарагду, как свои пять пальцев, и привел студента почти к ее устью. На глубине двух метров он откопал там каменную глыбу, отточенную в виде заостренного столба.

— Откуда здесь камень?

— Откуда?... Вот, Василь Васильич, откуда...

По словам Хассимова, в грамате, копия которой у него была, столб этот указан. Он-то и должен служить начальной точкой для направления первой координаты, по которой можно отыскать клад. Второй точкой должно служить место заката солнца в определенный день. Третью же укажет восход солнца тоже в определенный день, и тогда, в зависимости от указанных расстояний, и выяснится местоположение

клада. Дни и расстояния Хассимову были известны, — оставалось лишь ждать...

— Стал бы Мамай пускаться на такие хитрости? Зачем было ему, Великому Хану, зарывать свои богатства в землю? — сомневался студент. Но откуда эта каменная глыба, когда в степи, на сотни верст ни кусочка камня?

— Плохо вы помните историю Мамая, Василь Васильич! Зачем?... Послушайте тогда, что мне один мулла рассказал, человек ученый... Мамай был Большой Хан Золотой Орды от 1361 до 1380 года. Он напал на Россию, разрушил много городов, набрал толпы пленных. Русские князья, поняв опасность, перестали враждовать между собой, соединились и, под началом Дмитрия Донского, разбили его на реке Воже, а затем сразились с ним и на Куликовом поле в 1380 году, но битва там не была решительной. Мамай стал готовиться к новому походу на Россию, да напал на него внезапно Тохтамыш, хан Белой Орды с Сыр-Дарьи и с Тюмени, дальний родственник наследников Чингис-Хана. Мамай бросил думать о походе на Россию, оставил Сарай, свою столицу-ставку, — вы слышите? — и сразился с Тохтамышем у Азовского моря, в том месте, где полтораста лет перед тем монголы победили русских и половцев на Калке. Убегая из Сарая, Мамай не мог отправить своих сокровищ Великому Хану в Монголию, — дороги были перерезаны, — почему и приказал зарыть все в землю. Те, кто участвовал в этой работе, были, по обыкновению, умерщвлены, так что место хране-

ния знал только Мамай по грамате, которую ему составили.

Тохтамыш разбил Мамая и тот ускакал в Крым. Его союзники, генуэзцы, там его умертвили и, чтобы умилостивить Тохтамыша, отправили ему голову Мамая, но грамату оставили себе. Тохтамыш взял Сарай, искал сокровища Мамая, да не мог найти: на него надвинулся турок Тамерлан, магометанин по вере. Тамерлан разбил монголов, сжег Сарай, уничтожил конторы генуэзцев в Крыму, не поняв, какую выгоду он мог извлечь из них. А клад Мамая так и остался в земле. Грамат о нем существует не мало, но все они поддельные, я полагаю, за исключением той, которую я списал. Она попала в Казань от крымских генуэзцев, которых вытеснила орда Менгли-Гирея.

— Этот каменный столб, Василь Васильич, — сиял Хассимов, закрывая яму, — в грамате указан. Значит, она верна. Целый год искал я его. Теперь я на верном пути! Дождаться бы только указанных в грамате дней да не ошибиться в расчетах...

— А я слышал, что Мамай похоронен где-то на другой стороне Волги.

— В Царицыне? *) Не верно! Правда, там есть курган Мамая, недалеко от города. Одни говорят — Мамай под ним похоронен, другие, что там закопаны его сокровища, а третьи, что с этого кургана Мамай устраивал смотр войскам. Первое, я думаю, вздор: Мамай был убит в Крыму и хоронить его было не-

*) Теперь — Сталинград.

кому. О сокровищах — и говорить нечего! Они где-то здесь, около Ханской Ставки. А вот что он войскам смотр с кургана устраивал — это может быть... А я — на верном следу!

— Но куда же вы с вашим кладом денетесь? Не легко вам будет его спрятать. Или вас самого в тюрьму упрячут, или убьют из зависти. Сами же говорите, что в степи все узнается. Вот и будет вам клад Мамая!

— Не беспокойтесь. Управлюсь, лишь бы добраться!

Хассимов забросал яму, заровнял ее и пошел рядом с Зориным по пути к станции.

— Да вы не думайте, — заговорил он, помолчав, — что один только клад Мамая здесь имеется. Есть в степи и другие... Вы о кубышке, чай, слышали? Нет?... О ней здесь все знают. Это, Василь Васильич, штука тонкая! Не мало народа себе зубы о нее поломало, не мало и разуверилось, а, по моему, что-нибудь и тут должно быть. Дыма без огня не бывает. Правда, на этом кладу сидят люди, ой, какие дошлые, — пальца им в рот не клади! Только для этого клада — нет граматы. Есть зато человек один... Клад тот небольшой: пять тысяч золотых монет да ожерелья старинные. Да и того хватит, если распорядиться, как следует.

— Это по вашему мало? Впрочем, пять тысяч золотых монет — не ахти сколько! Пятьдесят тысяч рублей... Гнались бы вы лучше за выигрышным займом, там — двести тысяч.

— Не шутите, Василь Васильич. Пятьдесят тысяч не игрушка. Сосчитайте сами, сколько вы получаете? Пятьдесят рублей в месяц! Сто лет, выходит, вам надо служить, а мне и того больше.

— Вы и за кубышкой гоняетесь? — студент не понимал, как умный татарин может тешиться фантазиями.

— Думаете: «за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь». А я вот — иначе: «бей сороку и ворону, попадешь и в ясна сокола».

— Здорово вы знаете русские пословицы, а еще татарин!

— В России родился, там и учился!

— Одну минутку! — остановил его Зорин недалеко от станции: — Что за историю вы рассказали про эту кубышку? Кто-то знает о кладе в пять тысяч золотых? Почему же он не заявит правительству?

— Заявлять? Тут не дураки! Попользовался он сам немного, да наплакался. С тех пор и дотронуться не хочет. Ни себе, ни людям. Теперь стал он дряхл и нищ и с ума, кажись, свихнулся...

IV

Удивила Зорина полученная им в конце лета очередная телефонограмма: его начальник, инженер Кузьмич, переезжал с женой на Эльтон в неотделанную еще казарму. В деревне, где он до сих пор жил, оказалось, стало неспокойно. Немцы-колонисты заволновались, предъявляли какие-то требования. Опасаясь бесчинств и безобразий, Кузьмич и решил перебраться на линию, подальше от деревенских бунтарей. Повлиял на это и денежный вопрос. Компания дороги была бедная, платила мало, а жизнь дорожала. Кузьмич, инженер с большим строительным опытом, получал всего на всего двести рублей в месяц: на квартиру, на стол, на одежду, на все прочее. Вот и надумал он переехать на линию, не ожидая даже, когда казарма будет отделана: все же квартира даровая.

Езды было немного больше двухсот километров. На паре своих серых Кузьмич с женой и прибыл на второй день к вечеру, а через сутки подошел и воз с его мебелью и нехитрым имуществом.

Увидел Зорин жену Кузьмича — ахнул! Небольшого роста, полноватая, со ступнями внутрь, как у гусыни, она оказалась вдобавок типичной монголкой: щетинистые волосы, большой лоб, глубокопоставленные серые глаза. На первый взгляд — не

жена начальника, а ужас! Но через несколько дней выяснилось, что руки у нее золотые и сама она — ума палата, ума простого, народного, обогащенного жизненным опытом. Наружность ее искупали глаза: умные, внимательные, то и дело меняющиеся — то они холодные, стальные, то ласковые, приветливые.

Она была зырянка, из семьи охотника-зверобоя из под Вятки. Как подстрелил Кузьмич эту куницу, он не рассказывал, но признался как-то, что привязался к ней, когда ей было лет пятнадцать; когда же его перевели на другую постройку, он пожалел ее бросить да так и стал жить с ней, как с женой. Со временем связь эта была узаконена браком, несмотря на то, что зырянка была даже неграмотная. Как ни старался Кузьмич выучить ее хотя бы читать по складам — ничего не выходило; память изумительная, да не на «заковырки на бумаге», как она называла буквы. Правда, и времени-то свободного для чтения у нее не было: всегда занята чем-нибудь домашним, существенным. Так и осталась она в своем первобытном состоянии.

Это не помешало, однако «Степановне» (как все ее величали) забрать все в свои руки — вот и на Эльтоне стала она командовать всеми; от Кузьмича, начальника участка линии, ничего не осталось! Прежде всего устроила она квартиру и контору в незаконченной еще казарме: положила кошмы на пол, повесила кое-что на стены, расставила кое-какую мебель. Плотники сколотили шкафы, понаделали полок... ряд

других мелочей. О кухне, о столе и говорить нечего! После питания с рабочими на их котле, появились на столе у Зорина борщ, кулебяка, птица...

Кузьмич, начальник Зорина, оказался человеком золотым, но под башмаком супруги, существом безвольным, не проявляющим к тому же и желанья вернуть себе главенство в доме.

Окончив Институт Путей Сообщения, Кузьмич пошел служить в отдел по сооружению новых линий, не имея собственно особой склонности к этой работе. Пошел же он потому, что за местами на постройках инженеры гонялись, работа эта считалась интереснее, чем эксплуатация линий и лучше оплачивалась, — Кузьмич же окончил Институт одним из первых и имел право выбора. Постройка астраханской дороги была его третьей службой и специальность эта так ему прискучила, что, поселившись в Эльтоне, он поручил все ведение дела Зорину, сам же с головой ушел в занятия теоретические, в высшую математику и вообще в научные исследования. Для Кузьмича было безразлично, что изучать, лишь бы накоплять знания, не заботясь об их применении. Когда не было под рукой ничего нового по части математики, или механики, он сам задавал себе задачи из математического анализа, искал новые интегралы, выводил формулы удивительных кривых и их необычайных пересечений в разных плоскостях, координатах...

Доверие своего начальника Зорин оправдал, — с пяти часов утра был на ногах, заканчивая работу

лишь к ночи, без праздников, без воскресений. Он так погрузился в интересное дело созидания, что у него и времени не хватало даже на газеты, которые начали приходить на Эльтон каждую неделю; не знал он поэтому почти ничего, что происходило в России.

А происходило там что-то неладное, необычное, — в России начиналась чуть не революция: последствие неудачной русской-японской войны, глубокого недовольства народа безрассудной политикой правительства. Отголоски этих событий долетали и до сыпучих песков астраханской степи: рабочие прислушивались, но начальство мало обращало на это внимания: поглощено было ежедневными насущными хлопотами по постройке.

Степановна хозяйничала с утра до ночи, заботилась о кухне, возилась с домашней птицей, лошадьми. Хоть и не разбиралась она в «книжных закорючках», но птицу и животных знала отлично, говорила даже с ними на одном языке. Надо было видеть, как шла она кормить кур и цыплят, как наводила порядок, когда вдруг разбушуется почему-то крылатое царство. Скомандует что-то гусаку, тот слушает, повинуется, а до того — к нему и не подойти! Сердится, всем недоволен! Гусыня на яйцах никого не подпускала к плетенке, где высиживала свое будущее потомство, — зашипит по-змеиному, как только завидит кого, лишь кто приблизится; а Степановна возьмет ее за шею, погладит по голове, что-то пошепчет ей, и та, как зачарованная, закрывает глаза, тает от удовольствия.

С другой гусыней, потомство которой уже семенило лапками, случилась даже история. Привезли раз киргизы в подарок из степей корзинку со странной птицей — голой, противной. Птица вытягивала шею, чего-то искала. Глаза полузакрыты, нос огромный, все — несуразное. Не хотели и брать такого урода, как вдруг Степановна:

— Это — гушя. Ему холодно. Он ешть хочет! — как уроженка Вятской губернии, она вместо «с» (гуся) произносила «ш». «Мы, вячки, хвячки, шемеро одного не боимшя!» — дразнили в России вятичей за их прославленную трусость и странное произношение.

Забрала Степановна плетенку, вытащила из нее отвратительную птицу, напихала ей чего-то в рот и посадила под крыло гусыни, у которой было штук восемь чудесных желтеньких гусенят. Гусыня пыталась протестовать, но Степановна прикрикнула, та сразу смирилась: раскрыла пошире крыло, дала место незваному приемышу, да так его и усыновила. Открыла свое сердце и Степановна, — поток нежностей полился на «гушю»-приемыша. Она его ласкала, отдельно подкармливала, чистила, стараясь исправить его неправославный нос. На птичьем дворе — картина: идет гусыня, степенная, довольная, за нею цепью семенят гусята, последним же ковыляет этот ужасный «гушя», у которого на голом теле появились какие-то жесткие перья. По вечерам огромный несуразный птенец забивался под крыло приемной матери, которая уже не могла целиком прикры-

вать его, — добрая половина приемыша оставалась наруже.

— Степановна, да это сова, а не гусь! — подсмеивался Кузьмич.

— Шам ты шова! Это гушя, только лебединой породы. Еще лучше... Молчи уж, коли не знаешь.

— Да вы посмотрите на его нос! — вступался помощник за своего начальника, — разве у гусей такие?

— На швой посмотрите! У людей ношы тоже разные; у Кузьмича, вон, крашный, луковицей, а у ваш — на что похож? Так и у гушей.

— У него не нос, а клюв.

— Это, должно быть, дрофа или филин, — глубокомысленно вступал в разговор кучер Ефим.

— А ты — дурак. Я тебе покажу филина! Штупай лошадей чистить. Опять у коренного правое копыто внутри грязно. А вы на работу лучше идите! — командовала она Зорину: — Рабочие, гляди, шпину о шпину чешут. А ты, Кузьмич, шадись за свои книги — не вшю бумагу еще перепачкал!

Собрание расходилось, а птица: гусь, сова или дрофа — мирно ходила с приемной матерью, стараясь клевать своим уродливым клювом так же, как и собратья.

Странно, но гусыня предпочитала приемыша даже собственным детям; льстил ли ей огромный рост выхоженного ею питомца, жалела ли она его уродство, или так действовали наставления Степановны, но лучшее место гусыня всегда давала несуразной пти-

це, помогала ей получать вкусные куски, защищала от нападок остальных гусят.

К концу лета стало видно, что в выводке было два молодых гусака, которые, как и полагается самцам, становились больше, красивее своих сестер, сильнее. Оба они возненавидели приемыша и при всяком случае, когда не видела гусыня, щипали его за голые длинные ног. Тот кричал, спасаясь сломя голову, хотя был уже больше своих собратий, вероятно — и сильнее.

Несоответствие это стало наглядней через несколько недель, когда приемыш с огромным клювом оказался на голову выше самой гусыни. Ходил он гордо, величаво, по временам пропадая в собачьей будке: поклевав с приемной матерью, он мчался к собаке, отнимая у нее куски мяса, кости. Гусыня бежала за ним и удивлению ее, видимо, не было границ, когда она заставала своего приемыша с костью в лапе. Но стоило одному из молодых гусаков завидеть приемного собрата вблизи, как с шипением, нагнув голову до земли, он налетал на орленка, — так как «гуша» Степановны оказался молодым орлом, — и тот в страхе спасался, взлетая на крышу.

Поздней осенью орленок стал грустить, все смотрел куда-то вверх, спускался на землю, лишь когда хотел есть или когда слышал нежный зов Степановны. Он ковылял за ней на лапах с длинными загнутыми когтями и она давала ему кусочки мяса, хотя все еще надеялась, что это — лебедь, а не хищник.

Раз в начале зимы его сильно пощипали молодые

гусаки, которым он не осмелился ответить, так пагубна привычка быть битым и уверенность в превосходстве противника. Орленок, спасаясь бегством, взлетел... взлетел и не вернулся.

Весною следующего года кучер Ефим орет вдруг как то раз, обрадованный:

— Степановна, Степановна! Гуся твоя!

С крыши казармы огромный орел посматривал на знакомый ему двор, посматривал то одним, то другим глазом, наклоняя голову. Чуть не со слезами Степановна протягивала ему руки — «гушя моя, гушя!» — что-то ему говорила. Тот, наконец, решился, расправил огромные, широкие крылья и плавно опустился на двор. Но в тот же момент один из гусаков выскочил из птичника и с боевым криком бросился на приемного брата-врага. Орел заклекотал, как ошпаренный, заковылял по двору, спасаясь от гусака, помогая себе крыльями. Степановна с полотенцем — за ними! Орел успел сделать прыжок, взлетел — и скрылся уже навсегда. Он не знал, что его враг на следующий же день был съеден: наказала таки Степановна гусака за его ненависть к ее любимцу!

Хозяйка она была редкая. Рецепты знала на зубок и кормила такими кулебяками, борщами, которым позавидовали бы и лучшие рестораны Саратова, Москвы. Но, заботясь о кухне, не забывала она и своего высокого звания «начальницы». Авторитет ее на Эльтоне был исключительный, особенно у лю-

дей попроще, для рабочих же она была своей, Степановной.

Не пришлась она по сердцу одному лишь Хассимову и то без видимой причины. Он сторонился ее, может быть, оттого что со времени перехода из юрты в казарму Зорин стал на положение начальника, и дружеские отношения между ними почти прекратились. «Не бабье то дело — мешаться в постройку», ворчал татарин, когда Степановна отдавала распоряжения рабочим: — «Всяк сверчок — знай свой шесток! Сидела бы на кухне!»

Не оставалась у него в долгу и Степановна:

— Татарин ваш жулик!— решила она, присмотревшись к Хассимову: — Нож из-за пазухи и вам в спину!

V

В чин законной барыни Степановна возведена была Кузьмичем еще в начале работ по астраханской дороге. Став «начальницей», она и возложила на себя обязанности, сопряженные, по ее мнению, с этим высоким званием и неуклонно выполняла их, несмотря на ряд стеснений, даже мук, которые они ей причиняли. Обязанности эти были: носить башмаки или ботинки, надевать шляпу на людях и, уж понятно, распоряжаться.

Ноги Степановны с детства привыкли к лаптям. Башмаки стесняли ее, особенно те, что на французских каблуках. Но что поделаешь? — на то она и барыня! Степановна страдала, но надевала башмаки с утра и снимала их лишь вечером, когда кончалась ее роль начальницы, барыни. Шляп у нее было две: одна для будней, другая для праздников. Куплены они были много лет назад в Котласе — есть такой городок на севере России, где Кузьмич работал когда-то на постройке. Новыми они, быть может, были и не плохи, но время и дожди их сильно утомили. Степановна сама обновляла их, переделывала, пополняла сорванные ветром украшения, — и чего только она туда ни натыкала! Но внешнее изящество шляпы было ей безразлично: важно было, чтобы на голове красовалась шляпа, знак барыни, и шляпа посложнее — отличительный аттрибут жены

инженера, начальника. Нелегко было Степановне и закрепить это сооружение на голове, — волосы ее, как у большинства монголов, напоминали скорее конский хвост: черные, жидкие, упрямые; причесать их было невозможно, даже вылив на голову целую лампадку масла. Степановна поэтому закручивала свои волосы жгутом и завязывала их в узел, как подвязывают хвосты лошадям. А чтобы узел держался, она утыкала его со всех сторон шпильками. Прическа Степановны без шляпы походила тогда на ежа, с иглами во все стороны. На этого-то ежа и крепилась шляпа при помощи двух огромных шпилек с шарами на концах — красным и желтым: Степановна понимала только основные цвета, никаких переходных она не признавала.

Помимо домашнего хозяйства и птичника, занималась Степановна еще парой лошадей, из-за которых поедом ела старого Ефима: то гривы плохо вычесаны, то не так закручены хвосты, а то и просто напросто за грустные глаза: «Лошадь глазами жалуется», — заявляла Степановна, — «грустна, значит, уход плохой!» Доставалось тогда Ефиму, доставалось и Кузьмичу, последнему просто за компанию.

— Я то при чем? — протестовал тот. — Какой же ты начальник, какой ты инженер, когда у тебя и за лошадьми присмотреть не умеют!

Лошадей Степановна понимала инстинктом лучше всякого ветеринара, любила их матерински, страстно, и они отвечали ей тем же. Но зачем Кузьмич держал пару своих серых, этого никто сказать не мог — ез-

дить было некуда, вернее — незачем. Степановна же полагала, что, если она, барыня, должна носить башмаки и шляпу, то и Кузьмич, инженер-начальник, должен быть всегда в форме, в сапогах с лакированными голенищами и выезжать на паре, хотя бы для виду. Раз в неделю она поэтому и проезжала лошадей, да проезжала их так, чтобы рабочие видели и чувствовали, что такое «начальник»! В церемонии этой должны были непременно участвовать и муж, начальник дистанции, и студент-техник.

В бричку на деревянных дрожинах закладывалась тогда пара серых откормленных бездельников; Кузьмич и Зорин, оба в формах, садились на сиденье и судорожно держались за железные поручни, а Степановна, в своей праздничной шляпе с лентами и перьями, взбиралась на козлы. Вожжи в руки, — и она враз преображалась! Маленькая, несуразно сложенная женщина, обычно спокойная, рассудительная, теряла вдруг, казалось, рассудок: дикий крик, вожжи — как струны, кнут свистит в воздухе, и кони, в ужасе, выносят бричку карьером на степную тропу! Ветер рвет фуражки, серая соленая пыль столбом, седоки бьются друг о друга, цепляясь за что попало, лишь бы не вылететь на кочках. А Степановна, как фурия, шляпа — на затылке, платье, как пузырь, надуто на спине, гикает, задорит коней, мчится до тех пор, пока у тех не запенятся шеи, спины... Станции давно не видно, голая степь кругом, жара, как в печке, седоки разбиты, оглушены бешеной скачкой; Кузьмич умоляет Степановну повернуть обратно, а та —

сияет! Когда дикий азарт езды ее, наконец, успокоит, она начинает жалеть лошадей, позволяет им итти легкой рысцой, ласкает вожжами, что-то им говорит по зырянски...

— Чертова баба, — бурчит Кузьмич, но тихонько, чтобы та не услышала, — дала бы отдохнуть! Заболела бы что-ли, ушиблась бы хоть раз, только не таскала бы нас на эту забаву!

Но из его жалоб ничего не выходило: Степановна из мужа, как говорится, «веревки вила», хоть и трудно было понять, как мог Кузьмич так привязаться к ней, так безропотно переносить все, что она говорила ему, в чем только его ни укоряла! Довела она его раз чуть не до слез какой-то глупой сценой, а сама, спокойная, даже довольная, уплыла в кухню.

— Распустили же вы эту бабу, Кузьмич, — не удержался Зорин. — Встряхнули бы ее, как следует, разок-другой, поняла бы, кто хозяин в доме, кто здесь начальник!

— Молоды вы судить, милый мой, — обиделся вдруг тот, — думаете, она неграмотная, крестьянка, а я ученый инженер, так она мне не пара? А другая, ученая-то, дворянка, что стала бы делать на ее месте, в этакой глуши? У Степановны бывают, понятно, нехорошие минуты, а выходят и светлые дни, тогда лучшей жены и не сыскать!

Пришлось атаковать с другого фронта. Заела она как-то Кузьмича и, как всегда, из-за ничего, из-за пустяков; тот «ударил отбой», заперся в конторе. Зорин

— на Степановну: как не стыдно ей изводить человека? Да кого? Кузьмича! Он же мухи не обидит!

— С вами, мужчинами, разве можно иначе? — спокойно отрезала Степановна. — Нет, милый! Заважничаете, с вами тогда и сладу не будет. С вами надо, как с конями: овса давай в волю, смотри за ними, чисти их, — это все и вы любите: но кнут и вожжи держи на-готове! Может, Кузьмич кнута и не стоит, не балуется, идет ровно, а время от времени огреть и его следует. И вожжами одернуть, чтобы руку чувствовал, не забывался. Может, и самой мне жалко, да иначе с мужчинами нельзя.

— В семье-то кучер, значит, вы?

— А вы как думали? Мужчина? Слабы вы для этого, и не ваше это дело. У каждого из вас есть что-то, что занимает вас больше дома, больше семьи. А для нас дом и семья — все! Оттого-то мы за дом и держимся.

— Хорошо вы держитесь! Чего же вы Кузьмичу сцены устраиваете, да из-за ничего, и чуть не каждую неделю?

— А коней для чего я проезжаю? Чтобы не застаивались, привычки чтобы не потеряли. Так и с Кузьмичем. Думаете, мне приятно вожжами коренного одернуть? Железо ему губы режет, по зубам бьет. А нужно! Чтобы с ноги не сбивался, не заскакал бы. Так и с вами.

— Благодарите Бога, что коренной у вас — Кузьмич. Показал бы вам другой какой, кто домом правит, да кто кого слушаться должен.

— А вы, думаете, другими будете? Такой же! Все вы одним миром мазаны! Сумей только вас взять, а там — запрягай да подстегивай! И так-то везти будете, еще и радоваться, если кучер вами доволен. Не кучер вы, а конь! А кучер и для вас найдется!

Пара серых Степановны пригодилась всего один раз, когда пришло приглашение начальнику дистанции от хана Букеева, повелителя остатков Золотой Орды Каспийской степи. Пришлось Кузьмичу ехать, понятно, со Степановной; прихватил с собой и помощника.

Хан кочевал километрах в двадцати от Ханской Ставки. На это кочевье он пришел незадолго перед тем откуда-то с границ Туркестана. Вся огромная область каспийской степи, ничтожная часть прежней империи монголов, номинально и принадлежала хану по каким-то договорам и соглашениям. На деле же было другое.

Выехали вчетвером. Степановна — барыней, рядом с Кузьмичем, Зорин — впереди с Ефимом. Не проехали и двух километров, начала она пилить старика.

— Пристяжка не везет!... Куда, ворона, смотришь? Видишь, гужи слабы, коренник голову низко держит, с ноги сбивается... Задернешь, дурень! А пристяжка у тебя на что?

— Степановна! Оставь ты Ефима в покое. Бери сама вожжи! — не выдержал Кузьмич.

Этого той и было нужно. На ходу перелезла она на козлы, Зорина — к Кузьмичу, так и доехали, уже

спокойно, до становища хана, где, наконец, она отдала вожжи Ефиму и снова превратилась в барыню.

Хан Букеев, прямой потомок и наследник Чингис-Хана, пожилой, толстый киргиз, в шести или семи ватных халатах (чем жарче, тем киргизы теплее одеваются), встретил приглашенных радушно, широко. В железнодорожных чинах он не разбирался: ожидал, видимо, большого, важного начальника. Приготовления к приему были богатые: зажарили нескольких баранов, целого быка, кумыс подавали в больших чанах, разной крепости, на разные вкусы.

По-русски хан говорил, но плоховато; по образованию, по развитию остался монголом на уровне тринадцатого века, времен Кубилая или Батыя, и от культурной жизни сторонился. Теоретически ему подчинялась вся Золотая Орда, он был в чине русского генерала и серьезно верил, что русский император — ниже его, он то еще полковник!

На самом же деле, хан Букеев, по имени которого называлась орда каспийской степи, не смел и вмешиваться в управление своими подданными: киргизы выполняли все требования Петербурга, которые, в сущности, были направлены к стеснению вольностей кочевой жизни и к уничтожению монголов, как обособленного народа. Букеев сохранил, однако, в глазах киргизов свой моральный вес: разбирал по обычаям предков тяжбы своих подданных между собой, как наследник великого Чингис-Хана. В случаях же недоразумений между киргизами и русскими, дела поступали в русский суд, где кочевники, по

большей части не знавшие русского языка, даже не понимали судебных решений, но безропотно им подчинялись. Почтительность их к своему повелителю оставалась прежней: при виде хана они бросались на колени, прикладывались лбом к его сапогу, к стремени, к месту на земле, где он стоял...

Возможно, что этот хан был последним блюстителем монгольских традиций. Вряд ли последовал примеру отца его сын, воспитанный в Петербурге; по всей вероятности, он не остался кочевником, изменил заветам Великого Хана, запрещавшего монголам строить дома, обрабатывать землю. — Погибнут тогда монголы! — предупреждал в своем завещании великий Чингис-Хан и не ошибся.

Своим генеральским мундиром хан Букеев был горд, но надеть штаны с лампасами не решался: они резали ему живот. Обращаться с пуговицами он не умел, почему в торжественных случаях появлялся в русском генеральском мундире с орденами и в широких монгольских штанах, подтянутых веревочкой...

В этот раз он принимал гостей, одетый по киргизски в халатах, с голой шеей и грудью. Он был болен и причину болезни смог тут же показать гостям: две спички, которые, казалось, чудом держались на его голой коже. Чудо это оказалось «волосатиком». Кочуя где-то около Туркестана, хан выпил воды и проглотил зародыш этого ужасного паразита.

Волосатик — червячек, почти невидимый глазом. Попав в желудок человека или животного, он быстро развивается, добирается до вены и начинает переме-

щаться по кровеносной системе, проходя даже через сердце, и все больше удлиняется, толстеет. Может где-нибудь застрять и издохнуть, — заражение крови тогда неизбежно! Туземцы умеют порой распознать место на теле, где в данный момент случайно обретается волосатик. Делают тогда надрез, ущемляют головку паразита в расщепленную спичку, но так, чтобы волосатик, не дай Бог, не задохся или не разорвался. Каждый день затем, поворачивая слегка спичку, заставляют волосатика постепенно вылезать из вены.

На этих-то двух спичках и были навернуты почти невидимые спирали волосатиков из тела хана, и он сам должен был быть крайне осторожным в движеньях, чтобы какой нибудь из паразитов не издох раньше времени, — тогда и самому хану конец!

Чтобы развлечь больного, Кузьмич рассказал о другой странной русской болезни: о «колтуне». Наблюдал он ее в Полесьи, при постройке дороги около Бреста. Там водятся в болотах какие-то микробы, которые проникают в волосяные мешечки на голове человека. Корни волос воспаляются, выделения склеивают волосы, образуя сплошную массу — «колтун», к которому нельзя даже прикоснуться, не только его срезать, — так раздражена кожа.

— Так, так! — качал сочувственно головой наследник Великого Хана, быть может, и утешаясь страданиями других где-то там, далеко, далеко, в Полесье.

Хоть и больной, он похвастался своими соколами (охоту с ними он любил больше всего), табунами ку-

мысных кобылиц, баранов, скакунов; показывал затем портреты своих детей, родственников, развешенные в его просторной, богато убранной юрте. Больше всего гордился он цветной увеличенной фотографией своего старшего сына и наследника, который воспитывался в Пажеском Корпусе. Фотографии висели вперемешку с восточным оружием — древним, вероятно, и ценным, — по большей части, подношения его подданных киргизов, выкопанные из земли.

— А клада Мамая они не сумели отыскать? — пошутил Зорин. Хан пожал плечами, загадочно улыбнулся.

— Какие глупости! — не удержалась Степановна. — Жулик-татарин набил всем вам головы. Какие клады в песке?

Хан посмотрел на нее и снова улыбнулся.

Несколько дней спустя, разговорившись с Хассимовым, Зорин упомянул о наследнике Мамая, Хане Букееве.

— Каждое лето тут кочует, — подтвердил татарин. — Ищет, говорят киргизы... Да ему не найти!

— Он имеет право, его же наследство.

— Верно. Да давность вышла. А теперь — все права правительству, или тому, который словчится...

VI

Помимо любви к птицам и к лошадям, была у Степановны и другая слабость или страсть — любовь к стрельбе. Ружья у нее в то время не было, но два револьвера, один барабанный Смита и Вессона, другой, браунинг, никогда ее не покидали.

Кузьмич, понятно, возмущался, он терпеть не мог оружия, к револьверам жены не прикасался, да она и не позволяла ему: «Кузьмич не умеет! Сам себя еще застрелит».

Чтобы отблагодарить Степановну за ее заботы, Зорин выписывал и дарил ей патроны на праздники, на именины, — ни духов, ни конфет она не признавала, патронам же радовалась, как ребенок. Любовь к оружию была у нее врожденная, вековая; с детства еще, как и ее сородичи-зыряне, она стреляла белок из малокалиберной винтовки. Патрон стоил тогда пятачок, а шкурка белки (и то без дырки) десять, пятнадцать копеек; нельзя было, следовательно, бить иначе, как в глаз, чтобы не испортить шкурки. У охотников в этих местах вырабатывается с детства, а, может, переходит и по наследству, звериная меткость — иногда и способность целиться не глазом, не на мушку, а инстинктом, так сказать, слившись нервами с оружием. Способность эта не пропадает, видимо, и с годами. Степановна, став барыней, в башмаках и в шляпе, уж не стреляла больше белок, но без про-

маха садила револьверные пули в спичечную коробку, брошенную вверх, забивала пулями гвозди, причем стреляла, держа револьвер, как угодно: то в вытянутой руке, целясь, как все, то у бедра, смотря лишь на цель и инстинктивно направляя руку нервами, а не глазом.

В конторе Эльтона, где жил Кузьмич, стены были из сосновых бревен со множеством срезанных сучков; по этим то сучкам Степановна и стреляла, когда имела патроны. Если пули ложились в центре сучков, все было хорошо, но зацепи какая край сучка — дело дрянь: начнет тогда Степановна пилить Кузьмича, кухарку, а Ефиму хоть в степь уходи!

Приходила она иногда и на работы. Знали ее, конечно, все рабочие и авторитет у нее был такой, что ни начальство, ни подрядчики сравниться с ней не могли, с Кузьмичем же вообще рабочие мало считались, они его не понимали.

Подходит Степановна к группе землекопов, шляпа с яркими перьями и лентами видна за версту; все ждут, приободрились, работают веселей.

— Степановна, Степановна! У нас новичок! Не перекрестишь ли? — кричат ей, не дождавшись, пока она подплывет на своих гусиных лапках. Вид у нее важный, степенный, а глаза смеются; в руках редикюль, с которым она никогда не расставалась — в нем ключи, иголки, нитки, что-то для хозяйства, для кухни и... револьвер.

— Какой новичок? Где он?

— Да вот он... Сенька! Эй, держи! И вверх летит

вдруг шапка, сорванная товарищем с головы Сеньки. В один момент редикюль Степановны раскрыт, револьвер в руке и «бух, бух, бух» — шапка падает на землю с тремя кусками пакли, выросшими вдруг из ее днища. Все три пули угодили в нее и увлекли за собою паклю, которой шапка набита.

— Ха, ха, ха! — гогочет артель, а Сенька, изумленный, но довольный, запихивает обратно паклю, не понимая еще, как это произошло, — меткость стрельбы этой барыни просто сразила его.

— Еще, Степановна! — и новая шапка летит вверх.

— Что вы, дураки, патроны-то у меня для ваших шапок?

Иногда она все же уступала настойчивым просьбам и к общему удовольствию простреливала и другую шапку. Стреляла она и по картам — старым, засаленным, которыми дорожили, как зеницей ока, — для Степановны же не жалели и их! Не раз палила Степановна и по кисетам с табаком и огнивом, по трубкам... Восхищение ее стрельбой было так искренно и уверенность в ее меткости так велика, что много раз какие-то дурни просили ее стрелять по трубкам у них во рту, рискуя получить пулю в голову, но уж тут Степановна отказывалась.

Этой-то абсолютной уверенности рабочих в меткости Степановны Зорин был обязан жизнью, а астраханская дорога — целостью большой станции и ценного имущества.

Случилось это так.

Дела в России шли все хуже. Недовольство наро-

да, необходимость смены порядка управления страной, огромные потери во время войны и глупые мероприятия ничтожного правительства — все это подорвало в 1905-ом году авторитет власти. Когда волнения дошли до степей Каспия, рабочая масса зашевелилась и на Эльтоне, стали поступать требования, одни — справедливые, осмысленные, другие — вздорные; работа пошла кое-как, спустя рукава. Хорошие элементы среди рабочих понимали несвоевременность этих требований, но ничего не могли поделать с озорниками, хоть и малочисленными, да отчаянными.

Кузьмич еще более погрузился в научные исследования, на работы и не показывался. Как весь русский интеллигентный класс того времени (лишь за малыми исключениями), он не понимал социальных условий русской жизни, даже не интересовался ими, твердо запомнив еще со школьной скамьи, что заниматься этими вопросами, то есть политикой, запрещено. Он и понятия не имел о том, что происходило в России в 1905—1906 годах, к чему стремились русские люди, имели ли они на то основание, право.

Еще меньше разбирался в этих вопросах Зорин, попавший случайно на роль начальника в двадцать лет отроду. Не отдавал он себе и отчета, что в его распоряжении всего лишь один жандармский унтер и что на сто верст кругом — ни души, робичих же на Эльтоне в то время числилось больше семисот человек. Отношения с ними стали натянутые, но «эксцессов» не было... Не было, пока к купцу Тарантулу не

прибыла крупная партия... одеколона. Этот предмет туалета употреблялся киргизами в большом количестве, но не для внешней надобности, а для внутренней. Предпочитали они одеколон водке и не из религиозных соображений: степные киргизы не магометане, да и сам великий Чингис-Хан был большой любитель выпить, даже оставил своему народу твердые правила на этот счет: «один раз в месяц пьян — похвально, два — нормально, три — предел, а за четвертый — строгое наказание!» Пристрастие к одеколону было скорее другого порядка. Нравилась ли киргизам крепость жидкости Брокара в шестьдесят градусов эфира, тогда как в русской очищенной только сорок градусов спирта, или же опьянение от эфира производит другой какой-нибудь дополнительный эффект, но как только прибывала хорошая партия одеколона, киргизы приезжали за сотни верст и быстро расхватывали флаконы, продавая верблюдов, баранов, шерсть....

В это смутное время и пришел как-то караван с одеколоном из Саратова, пришел к вечеру, когда уже стемнело.

— Беда! — прибежал Ефим с вокзала: — Рабочие разбили ящики, перепились одеколом, грозят разнести всю станцию.

— А Подшивалов? На то он и жандарм!

— В степь убежал, его убить хотели. И про вас не хорошо кричат, и с вами хотят посчитаться.

— Со мной? — вскипел Зорин: — Я им покажу, как лавки грабить!

— Кому покажете? Один на всю толпу. Молчали бы! — обрезала Степановна.

— Барыня, в степь... утикать надо!... — хныкал Ефим, а Кузьмич курил молча, — храбростью и он не отличался.

— Бежать? Ни за что! — Зорин бросился к телефону, хотел вызвать управленье в Саратове, но аппарат не действовал, провода были перерезаны. Решили послать Ефима посмотреть, что делает толпа, а на всякий случай укладывать дела, отчеты.

Через полчаса вернулся Ефим, без шапки, растерянный:

— Батюшки-светы!... Перепились... Двух девочек поймали, дочерей десятника, насилуют... На нас итти хотят! Давай нам, говорят, техника!

Стали звонить по телефону в другую сторону, но и станция Баскунчак не отвечала: или телефонисты заодно с рабочими, или аппараты испорчены.

— Заложим коней, барыня, да в степь! — настаивал Ефим.

— А дом, а вещи?

— Бросим все, бежим! — торопил и Кузьмич, бледный, взъерошенный.

— Четверо да в бричке? А те налегке? И лошадей у них сколько хочешь! Догонят... Здесь сидеть, запираться! — командовала Степановна.

Бросились затворять, забивать окна, двери. Притащили со двора остатки досок, бревна; из дома — шкафы, столы, кровати. Дверь укрепили, с окнами труднее.

— Ничего! Окна небольшие, по одному лезть надо — побоятся! — решила баба-командир. А рев толпы все ближе, все слышней. Крики, свист, ругань! Темная масса, вопя, обложила казарму.

— Отворяйте! — стучат в дверь, в окна: — Степановна, Кузьмич, выходите! Вас не тронем, нам техника подай!

Галдят, орут, беснуются...

Осажденные замерли. Что делать? Взять у Степановны револьвер, защищаться? А у них топоры, ломы!

— Я говорил не быть таким требовательным! Чорт с ней, и с постройкой! — скулит Кузьмич.

Степановна же уговаривает толпу через дверь, сердится:

— С ума вы сошли! Пьяны напились, девочек перепортили! В Сибири насидитесь!

А толпа старается выдавить входную дверь...

— Степановна, ты брось! — слышится оттуда: — Тебя не тронем, — нам техника давай. Узнает, как уроки задавать!

В дверь бьют бревном, она трещит...

— По домам! Пьяницы!

— Техника! А то спалим с казармой!

Груды стружек вокруг, щепа, остатки леса от построек, сушь... Дом мог вспыхнуть, как спичка.

— Пустите, Степановна! — Зорин оттолкнул ее от двери. — Я пойду, поговорю, — он взялся за бревно, которым была подперта дверь.

— Вы с ума сошли! — железная рука Степановны оттолкнула его, он отлетел в угол: — Молчите! — а сама через дверь старается еще урезонить, тюрьмой грозит.

— Техника, не то всех сожжем!

Одно окно вылетает, за ним другое; в отверстиях озверелые морды, кулаки, топоры...

— Отворяйте дверь! — крикнула Степановна.

В руках у нее револьверы, волосяной еж растрепался, глаза мечут искры.

Зорин выбил бревно, дверь распахнулась, за дверью — темная толпа пьяных, растерзанных, зверей! Степановна, как фурия на них:

— Ты хочешь пулю?... В какой глаз? Правый, или левый? — и в упор на первого. Тот в ужасе — назад! Она за ним и на другого: — Тебе хочется? — и револьвер у того под носом.

Рабочий шарахается, вся толпа пятится, а Степановна то на одного, то на другого, — оба револьвера в вытянутых руках:

— Я тебе, сопляк, шапку прострелила, — теперь башку попробую! Много ли в ней пакли?... И ты здесь, Сенька? Так получай!

Но Сенька уже смылся, — как ошалелый, он кинулся назад через толпу, пробился, улепетывает на станцию, только голые пятки сверкают... Степановна ему вслед, в воздух — «бух, бух!» За Сенькой дерут и остальные, а Степановна вдогонку:

— Я покажу вам, подлецам, как порядок нару-

шать! В Сибири насидитесь! Вшей покормите! — и снова: «бух, бух!»

В миг — у казарм никого.

За ночь пьяные проспались; угар утром прошел, многим стало совестно, другие опасались последствий. Все чесали затылки, думали, рядили, как уладить дело. Собрали в складчину деньги, уплатили торговцам за выпитое, за разбитое; одна девочка скончалась, другую удалось отходить. Виновного же не оказалось, — все виноваты! Некому, правда, было и искать: в городах волнения были хуже, следователь до Эльтона так и не доехал... Жандарм Подшивалов вернулся лишь на четвертый день: «Лошадь в степь забежала, долго искать пришлось» — объяснял потом храбрый блюститель порядка.

Мудрым в этой истории оказался лишь Хассимов, — он держал нейтралитет.

— Что же вы не пришли на выручку? — укорял его на следующий день Зорин.

— Один в поле не воин! Вы вот пугали меня тюрьмой, если я клад какой найду. А вас за что поджарили бы, как барашка, вместе с казармой? То-то! От судьбы, видно, не уйдешь. Мектуб — по нашему. А от толпы — лучше, того — подальше!

Татарин сторонился теперь Зорина, ни о своих надеждах, ни о кладах больше не заикался — вплоть до ярмарки в Ханской Ставке, уже под осень, когда бывшие приятели вновь сблизились, разговорились.

VII

Ханская Ставка, или Сарай Золотой Орды, в тридцати километрах от озера Эльтона оживала в начале этого века всего один раз в год, под осень, во время ярмарки, которая устраивалась там с незапамятных времен. На ярмарку съезжались киргизы, хуторяне, калмыки, русские купцы, все, кому хотелось или кому было нужно поторговать со степью, купить скот подешевле, продать мануфактуру, провиант, оружие для охоты, словом — все, что требовалось людям примитивной культуры, не изменившим ей и за семь веков.

Никакого отношения к железнодорожной постройке ярмарка не имела, Зорин и не собирался туда, да случай толкнул его на поездку.

Лес для построек лежал на станции штабелями, откуда плотники и брали бревна, чтобы рубить срубы жилых помещений, вокзала. Откатывают как то очередное бревно — большой паук под ним!

— Вот так зверь! — парнишка-плотник бросился с шапкой, придавил паука к земле. Не видали ребята в России такой диковины, посадили ее в банку, балагурили и решили отнести технику-студенту: — Кто его знает, что за штуковина такая? Жиганет — похватаешься!

Зорин не раз видел фаланг, хотя на Эльтоне они

встречались реже, чем тарантулы, но такой величины они ему еще не попадались.

— Кусается, барин?

— Дай палец, узнаешь!

Показали находку местным знатокам, хуторянам, киргизам, — те в восторге: «Лошадь ухлопает, не то, что человека!» — и слезно просили не убивать редкостной фаланги. Пересадили ее в банку, закрыли картоном с дырочками и стали сытно кормить.

— Другого такого бойца на всю степь не сыскать! — уверяли киргизы.

Когда открылась ярмарка, диковинная фаланга и отправилась в Сарай с целой свитой: Зорин, Хассимов с драгоценной банкой, знакомые киргизы, кое-кто из хуторян. На фалангу все смотрели, как на гордость Эльтона, многие возлагали на нее надежды.

Кузьмич и Степановна ехать отказались; не захотела она даже одолжить своих серых: «Коляску портить такой гадостью? Выдумали тоже!» Пауков она не переносила, боялась даже домашних и по степи ходить опасалась.

В безлюдном обычно Сарае стояли теперь повсюду киргизские юрты на десятки километров во все стороны, паслись бесчисленные стада рогатого скота, табуны лошадей, верблюдов, белели палатки с товарами, шатры калмыков; полевые печки жарили, пекли сладкие, жирные лепешки в виде блинов; тут же их продавали, с криками на всевозможных гортанных языках; торговались или просто глазели. Толпа — азиатская, шумливая, восторженная; люди

смеялись от пустяка, от детской шутки, вспыхивали, мигом приходили в неистовство почти без повода.

Ходить пешком по ярмарке не полагалось, да это было и затруднительно из-за песка и расстояний; юрты и временные загородки стояли так, как хозяевам пришло на ум их поставить, чтобы другим не мешать и своему скоту было не тесно, — места в степи хватало на всех.

В одном конце ярмарки стояла большая переносная пагода, которую калмыки, буддисты по вере, привозили с собой из окрестностей Астрахани, хотя калмыков в каспийской степи оставалось в те времена немного. Лет сто перед тем сотни тысяч их ушли с Волги, недовольные действиями царского правительства: они попросили гостеприимства у Китая, желая вновь поселиться на тех местах, откуда увели их когда-то наследники Чингис-Хана. Из 70.000 кибиток, или улусов, ушедших с Волги в Китай, около шестидесяти тысяч погибло по дороге от нападения жителей, от голода и болезней, но около десятка тысяч добралось до реки Или и поселилось на ней; живут там эти калмыки и посейчас. На Волге осталось их мало, народ работящий, толковый, преданный вере, заветам отцов.

На другом конце ярмарки, устраивали и развлечения, забавы: скачки лошадей, верблюдов, бои петухов; боролись борцы по-русски, по-киргизски, по-калмыцки, в одежде или почти голые, намазанные жиром; шли бои тарантулов с тарантулами, фаланг, скорпионов... Все состязания сопровождались став-

ками на деньги, на скот, на товары. Заклады ставились самими участниками, хозяевами, всяким, кто хотел. Спорили, торговались долго, жестоко, держали пари между собой, группами...

Фаланга со станции Эльтона привлекла внимание знатоков этого спорта. После долгой торговли, руготни, хлопанья по рукам, Хассимов принял вызов одного киргиза, хозяина тарантула, которого привезли за триста верст. Огромный паук, оброслий черной шерстью, возбуждал еще больший интерес, чем элегантная фаланга Эльтона; он поводил глазами, жевал челюстями, но сидел в своей банке спокойно. Вокруг него толпились любители, зеваки, больше киргизы в разноцветных халатах, в меховых шапках, некоторые даже в тулупах; большинство верхом, кое-кто и пеший.

Долго вырабатывались условия состязания: раздразнивать ли бойцов каленым железом перед борьбой, кого считать победителем? — и опять спорили, кричали. Хассимов как бы переродился, его восточная, азартная натура взяла верх, обычное спокойствие исчезло. Фаланга стала ему своей, родной, он на нее чуть не молился... Заключали пари, ставили ставки. Симпатии зрителей разделились: некоторые — за фалангу, большинство — за тарантула, приблизительно один против двух. Ставки находились тут же: верблюд против верблюда, табун овец поменьше (за фалангу) против большого табуна (за тарантула), тюки шерсти против других тюков, ковры и кошмы; держались пари и на деньги. Хассимов

купил за пятьдесят рублей лошадь и выставил ее против прекрасного киргизского коня, хозяин которого был уверен в победе тарантула.

Битва была недолгая, но жестокая. Она захватила зрителей, многие кричали, ахали от восторга; одни приплясывали от удовольствия, бросая шапки вверх, другие топтали их в песке от огорчения, чуть не плакали!

Небольшой круг маленькой арены с невысоким барьером был покрыт двумя листами стекла, чтобы фаланга не убежала (сражения тарантулов между собой или со скорпионами устраивают без стеклянной крыши). Хозяева и любители жались друг к другу на корточках вокруг арены, затаив дыхание, не спуская глаз с бойцов. Любители смотрели, стоя кругом, а сзади толпились вплотную верховые...

Тарантул спокойно сидел посреди арены, копался, в надежде найти землю и там спрятаться, фаланга же носилась по полу, описывала круги по берьеру, даже по стеклу потолка, стараясь найти выход, избежать тарантула. Ни тот, ни другой паук не трогали друг друга, зорко, однако, друг за другом наблюдая. Минуты пролетали, зрители теряли терпение, другие забавы их ожидали; шипели, поощряли бойцов, насмехались над ними; некоторые советовали прибегнуть все же к каленому железу, но это, как объяснил Хассимов, нарушило бы шансы фаланги, она нежная, и это в условия не входило.

Как, почему решилась фаланга напасть, этого Зорин не понял, но быстрая, как молния, она промча-

лась около тарантула и, неожиданно для всех, на ходу отхватила у него одну ногу, как бритвой. Радость части зрителей, изумление, отчаяние других, и бой начался, бой смертельный, решительный, а с ним и волнение зрителей, захваченных, увлеченных поединком.

Раненый тарантул отлично справлялся и без одной ноги. Разъяренный, он нападал, злобно поводя челюстями, стараясь схватить увертливую, быструю фалангу, во много раз слабее его. Та понимала неравенство, избегала открытого боя, пытаясь поразить противника на ходу в одну из его конечностей, отравить его своим ядом. Тарантул же без устали наседал и два раза ее ранил, но не успел схватить. Быстрота фаланги заметно уменьшалась от яда противника, силы покидали ее, она бегала лишь по полу, не могла подняться на барьер. Шансы тарантула повышались, сторонники его торжествовали, Хассимов и его сотоварищи пригорюнились... Вдруг, с непонятной быстротой, из последних, наверное, сил, фаланга схватила тарантула за его мохнатое тело и куснула его так, что паук уже не мог выправиться, лишь судорожно задергал лапами: яд фаланги сразил его на-смерть! Бой кончился. Сторонники победителя торжествовали, шумно радовались, брали сейчас же выигранные ими ставки, забирали тюки, кошмы, скот...

Никто и не посмотрел, что на арене рядом с издохшим тарантулом кончала жизнь и фаланга: яд соперника прикончил и ее, немного лишь позже. Она была еще жива, когда хозяин арены поднял осторож-

но стекло и добил фалангу рукояткой плетки, расплющив для верности и ее издохшего противника. Откопав ногой песок, здесь же сбоку, киргиз бросил туда обоих бойцов и заровнял сапогом землю.

Ликуя возвращались с ярмарки жители станции Эльтона и их приятели — все они выиграли, благодаря фаланге. У Хассимова появилась теперь пара собственных коней, молоканин, который работал и поселился на станции, получил верблюда, ближайшие к постройке киргизы гнали домой баранов, кобылиц.

— Что, Хассимов, — студенту надоело ехать молча, — фаланга-то, выходит, вернее клада Мамая? Только зачем вам кони? Не сокровища ли увозить собираетесь, когда точки определите?

— Лошади всегда пригодятся, Василь Васильич! Пока что, на станции поработают, а там, гляди, и для чего другого, — загадочно смотрел тот вдаль.

— А провиант? На Эльтоне фуража ведь нет!

— Дело не трудное. Киргизские кони сами о себе заботятся, достанут из-под снега замерзшую травку и кормятся, а про лето и говорить нечего... Да я отгоню их на зимовку к одному хуторянину, а пока сдам в наем, до поры до времени они мне не нужны.

— Заботливый вы, я вижу, — смеялся студент, — да маловато приобрели. На паре, гляди, не увезете всего, что спрятал Мамай. Сокровищ у него, поди, был непочатый край.

— Понятно, мало. Возы нужны, караван целый, да для начала хватит... А вы не смейтесь, Василь Ва-

сильич, в грамате указано, что там запрятано, у Мамая-то. Увезти все можно, с ризами только будет хлопотно да с женщиной.

— С какой такой?

— С золотой, что Мамай зарыл. Статуя, думаю, а в грамате указано: женщина. Богиня, сдается мне, греческая или римская, которую итальянцы нашли. С римских времен еще, так в грамате и значится. Генуэзцы подарили ее Мамаю, когда тот заключил с ними союз в Крыму. Над ней-то придется подумать: тяжела, а ломать жалко, старинная ведь.

— Неисправимый вы человек, Хассимов!

— Какой есть, Василь Васильич. Не в переделку же лезть!

— Чего вы тогда медлите?

— Поздно нашел первую отметку, каменный столб-то. Почти год надо ждать, чтобы найти вторую точку, а там еще полгода... Разве я сидел бы здесь...

— Так... А, по моему, зря вы тешитесь фантазиями. Все это — рассказни, небылицы! Даже и те, что в истории, у Иловайского или у Карамзина. Возьмите хоть эту Ханскую Ставку, о которой мы учили в гимназии. Ничего в ней нет! Живут там два молоканина, да киргизы иногда заезжают; только во время ярмарки она и оживает. А бывало в Ставке, учили мы, до миллиона человек, пути в ней скрещивались из Европы в Азию, в Китай... Читал я даже, что в ней жили епископы католические, несторьянские; стояли, значит, церкви. А кроме того — буддисты, шаманисты, послы чуть не со всех стран света... И наши

князья на поклон туда, будто бы, ездили, Хану стремя целовали, дары подносили... Не может этого быть! Раздули господа историки, а потом и сами стали верить своим выдумкам.

— Так это, Василь Васильич, и не так... Что Сарай такой был — это верно. Что туда со всего света послы да епископы ездили, это тоже, гляди, правильно. Но место, где Ставка стояла, по моему, сомнительно. Расспрашивал я хуторян, которые места здешние хорошо знают, разговаривал и с киргизами, не находили ли они там чего-нибудь? Ведь по истории, Тамерлан Ставку сжег, разрушил в ней все постройки, поубивал жителей, да камней-то он не мог же сжечь! Щебень да кирпич должны были бы остаться, а среди них, гляди, и что-нибудь другое... «Ничего», — говорят мне, — «не находили, а рыть, рыли...» Потом — другое. Жило там, вы говорите, до миллиона людей, а пить-есть им надо было?... Откуда же вода? На месте, сами видели, ее ни капельки, — значит, воду проводить по земле надо, не в бурдюках же ее подвозить, на миллион-то! А для водопровода кирпич да камень нужны... И чтобы от них ничего не осталось? Не там, думается мне, Ставка Ханская была. Не дураки были монголы, чтобы в голой степи, без воды, столицу ставить, да еще мировую.

— Где же она была, по вашему?

— Там, где вода есть. Поближе к Волге нужно искать. На Ахтубе, скажем... Был я там как-то. В одном доме смотрю, в другом: печи из кирпича сло-

жены, плоский такой, квадратный, на наш не похож. «Откуда он у вас?» — спрашиваю. — «Из старого городища», говорят, — «недалеко отсюда». Я — туда. Ну, Василь Васильич, и штука! Сыпучий песок засыпал какой-то город, да так, что ничего и не поймешь. Когда ветер отгонит песок, дома стоят, да все старинные. Из них себе жители кирпич и ломают, — в Цареве другого и не делают. Приходи и бери, кому не лень.

— Вы там не покопали?

— Покопал, да толку мало. Расспрашивал, а граматы нет! А без нее, где искать? Костей там — сколько хочешь, а монет мало. Повыбрали, гляди, раньше.

— А кости какие?

— Чудные, Василь Васильич! Яма там одна, скелетов в ней сколько хочешь, да все без голов.

— Куда же черепа девались?

— Кто его знает?... Говорят, Тамерлан орудовал на турецкий манер, значит, когда он Тохтамыша разбил и монголов покорил. Головы поотрубал, тела в яму приказал бросить, а где черепа — неизвестно. В Туркестане и в Персии он так же работал, но там он пирамиды из черепов поустраивал — на страх, значит, жителям, потомству! До сих пор пирамиды эти, говорят, стоят. А куда он позадевал здешние, того никто не знает... Вот там-то, на Ахтубе, думается мне, Ханская Ставка и была, настоящая-то, а у нас, около Эльтона, — летняя, пожалуй, куда Хан выходил весной да летом.

— Ничего интересного в старом городе и не нашли, около Царева?

— Мелочишку кое-какую, из упряжи кое-что, кольчуги, да больше рваные, монеты кое-какие, да так себе, неважные. Мулла мне потом рассказывал, что монголы чеканили их в столице Булгар, где-то на Каме, — теперь ее и не сыщешь! И выбивали они надписи на трех языках: по-персидски, по-арабски и по-уигидур, — своего-то письма у них не было. Такие и мне встречались. Только золотых не попадалось, а медные — на какой они шут? Серебряные были, да серебро у них плохое, как с уздечек или стремян. У гвардии Чингис-Хана, вы знаете, сбруя и отделка седел была вся в серебре, а у внука его, Батыя, что Россию покорил, первая тысяча телохранителей — сплошь в золотом наряде! Золота у них было, как я вам говорил, сколько хочешь: не потому ли Орду эту и называли «Золотой»?

Верховые лошади шли шагом, пересекая длинную косу переносного песка. С трудом они вытаскивали ноги, хотя копыта их, созданные для мягкого грунта, шире и крепче (не знают ни подков, ни гвоздей), чем у русских коней.

Переносные пески — бедствие каспийских степей. Распространяются они, главным образом, из-за скота. Верблюды, бараны, лошади уничтожают жалкую растительность степей, удерживающую пески, съедают листочки, верхушки растений... Растительность гибнет, корни умирают, солончак обнажается, стано-

вится песком, который и движется от ветра, заносит новые площади.

Песчаная коса была здесь недлинная, показался скоро и солончак, жидкая травка на нем, колючки. Конь Зорина резко взял в сторону и жадно стал щипать, не обращая внимания на понукивания седока.

— Подлая скотина! — ругался тот, натягивая поводья и подгоняя ногами, плетью: — Как могут киргизы управлять такими одрами, да с такой уздечкой?

— Дайте ему пожевать, коню-то вашему, — Хассимов позволил своей тройке кормиться тут же: — Целый день ведь он не ел. В Сарае — ни соломинки, кругом все стравлено, а здесь степной овес, «киак» по нашему, самая конская трава! Засевать бы ею, чтобы пески в степях закрепить.

— Это она и пахнет так, киак ваш?

— Все здесь пахнет, особенно полынь... Вон она около вас, полынь-то эта. Горькая она, вкусом неважная, а пахнет хорошо; из нее водку можно делать — абсент. Их две: белая, по нашему «ак-джусан», на земле получше, в северной части степи, и другая — черная, «кара-джусан», где земля совсем плохая, почти на чистых песках. Да вот она, около вас! Пахнет она сильнее белой. Сидят обе в земле крепко, корни их на метр в глубину и больше. Когда есть влага, полынь распускается, нет влаги — листочки ее свернуты. Цветет она осенью, да толка большого от нее — никому!

— А что еще растет в степи?

— «Фетюк» растет, я не знаю, как он называется

по русски. Потом «ковыль», — его вы и сами знаете. Вон там — «кокпек», около него «кошия», а это вот «кермек». Русских названий у них, гляди, и нет. Вон там «верблюжья трава», или «эрнек»; та же, что на волосы похожа — «насток», а рядом с ней, да вы должны ее знать — «сарсазан».

— Здорово вы знаете ботанику, жаль, что только татарскую. Русские названия у них тоже должны быть, — нам не занимать у монголов!

— Думаете? А ваши отчества, Василь Васильич, откуда?... Тоже турецко-монгольская привычка. До нее у русских было: «сын такого-то», а теперь просто: «вич», как и вы: Василь Васильич.

— Ну, это, может, и так, а может, и не так.

— Верно. Да это что! Многие монгольские слова так вошли в русский обиход, что вы и сами не распознаете, считаете их вашими, родными... Например?.. Ну, ваш отец, был барин? Ваша матушка — барыня? А вы — барчук?

— Да, так что ж?

— Все эти слова — монгольские, а не русские. «Барин» и его жена, «барыня», — члены одного из привилегированных племен монголов, а «барчук», вернее «ба-орчук» — молодой монгол, оказавший большие услуги Чингис-Хану, за что и занимал исключительное положение при Хане, как и вы при вашем отце в деревне! Слово это и стало теперь нарицательным, но вашим, русским, национальным.

— Этого я не знал.

— Есть и забавнее. Русские былины, уж самое что

ни на есть русское! А богатыри: Илья Муромец, Святогор, Алеша Попович, — русские?

— Понятно!

— Ха-ха-ха! А слово-то — монгольское! «Богатырь» значит: герой, силач! Ха-ха! Ну, не пора-ли в путь? Кони по дороге пощиплют.

Верховая упряжь киргизского коня сильно отличается от европейской, — монгол и здесь остался верен вековым привычкам: уздечки с удилами во рту лошади он не признает, как не признает и подков. Испокон веков киргиз обходился безобидной для коня оброткой или недоуздком, приучая лошадь повиноваться голосу, слушаться ног всадника. Шпор он также никогда не носил; к плетке же, которая всегда у него на руке, прибегает нередко. Уздечкой киргиз не пользуется потому, что с лошади он не слезает по целым дням, часто и спит верхом на ней. Поэтому-то он дает возможность щипать коню на ходу, — для чего рот коня должен быть свободен. Кстати, почти все киргизские лошади — иноходцы, в России их не брали даже в кавалерию — такой бег укачивает всадника, — а принимали только в обозы. Но киргизы сроднились с ними и не страдают от качки. Само седло также мало похоже на европейское. Оно с высокими луками, глубокое, с мягкой подушкой внутри. Сядешь в него — как в люльке, но только при езде шагом (ехать облегченной рысью невозможно). Киргиз же и на рысях сидит в седле, как привинченный, лишь на карьере он приподымается на стременах, пригибаясь к шее коня.

Лошади весело трусили, чувствуя скорый заход солнца, пофыркивая и пощипывая время от времени травку. Зорин, стараясь не перелететь через голову коня, когда тот неожиданно нагибался, ехал молча, задумавшись над словами Хассимова. Тот, видимо, только и жил мечтами о монгольских сокровищах, все свое будущее основывал на находке клада Мамая.

«Да был ли этот клад, и что в нем?» — думалось студенту. Размышления Хассимова о количестве золота у монголов были логичны, подтверждались историей. С гимназических времен еще Зорин знал о набегах монголов на Россию, об ограблении Китая, Персии, всей Азии. Баснословные сокровища Креза, Дария попали к монголам; богатства Китая, скопленные тысячелетиями, достались им же вместе со всей страной Небесной Империи, а богатства Китая — факт общеизвестный. Там, до последнего времени, остался обычай делать пуговицы для состоятельных людей из золота, а то и из бриллиантов; хорошо воспитанный китаец не подарит любимой женщине одного бриллиантового кольца на ее палец — у нее ведь две ручки и обе одинаково красивые — дари, значит, два кольца и одинаковых! От времени могли погибнуть жемчужины, но золото-то сохранилось. Не надо забывать также, что золото лежало в прежние времена не в кладовых государственных банков, а было распределено среди населения мира в качестве красивого металла, удобного для обработки, не боящегося ни времени, ни ржавчины. Стеклянная посуда, хрусталь, фарфор долго оставались редкостью,

к тому же и бились. Посуду делали поэтому из дерева, из глины, кто побогаче — из серебра, из золота: чарки, братины, кувшины, подносы...

Когда монголы взяли в полон русского князя Василия II-го и выкололи ему глаза, купцам Строгановым удалось его выкупить, прельстив монголов своей знаменитой золотой чеканной посудой, золотыми подносами и бочонками, полными золотых монет. В старое время, по обычаю предков, русский князь, боярин, или богатый купец приветствовал своих гостей золотой братиной на блюде, густо украшенном драгоценными камнями. Русские люди тратились тогда не на замки, не на оружие и турниры, как в остальной Европе, а на украшение теремов и, главное, на платья жен и дочерей и на свои собственные парчевые одежды, на меха да на драгоценную утварь.

С незапамятных времен не мало добывалось золота и в самой России, на Урале. Доставляли его и купцы из Азии, из Индии, где продавались русские товары. Мастера по обработке золотых листов и нитей для парчи, для филиграна, привезенного с востока, из Византии, доходили в Россию, еще до монгольского ига, до совершенства, создали особый стиль. До сих пор сохранился русский ручной способ выработки золотых листов для позолоты; они достигают иногда такой тонкости, что просвечивают. Листы эти и теперь славятся на весь мир. Известно, что во времена монгольского ига деревни вокруг Мурома были обложены специальным ясаком, податью: они должны были вырабатывать для побе-

дителей листы и нити из золота, которое присылал им с этой целью Хан Золотой Орды.

Не только русские женщины, но и мужчины посостоятельнее были одеты в парчу, в золото, в ткани, унизанные жемчугом, камнями драгоценными. Застежки, нарукавники, воротники, тюбетейки, шапки — все было богато, все было в золоте, в парче, в ценных мехах. Поддельных драгоценностей, искусственного жемчуга, синтетических рубинов, изумрудов тогда не существовало. Тратились русские люди, разорялись, но жены их и дочери, да и сами они, должны были показываться на людях, не краснея!

Жемчуг шел в Россию через Персию, но добывался и у себя. До сих пор сохранились промысла и специалисты на Белом море, где жемчуг добывался с незапамятных времен. Добывают его там и теперь, хотя большой цены он не имеет: он блестящий, живой, но зерна его беловаты и слегка сплющены. Эта форма, однако, в те времена очень ценилась: легче было украшать им ризы икон, ореолы святых, платья и кокошники боярынь, обшлага, воротники, братины...

Монголы, напротив, жемчуга не любили: в перечислении податей, которые должны были вносить покоренные князья и города, упоминается только золото, скот, невольники, девушки да провиант (не любили, видно, монголы ценностей условных). Когда венецианские послы приехали в Сарай, чтобы испросить разрешение на открытие контор, по примеру генуэзцев, то они преподнесли Хану Золотой Орды

кружева, замечательные изделья из стекла (Мурано), шелк, картины... Хан взглянул с удивлением на стоявших перед ним на коленях итальянцев и оттолкнул сапогом их подношения, быть может, работы знаменитых мастеров. Неуспех неоднократных попыток римских пап вовлечь монголов в борьбу с турками, когда первые крестовые походы кончились печально для всей христианской Европы, объясняется незнанием вкуса монголов и неумением папских послов подойти к Ханам и их приближенным. Генуэзцы были опытнее — они привозили с собой золото в бочонках, золотые чаши, подносы, чеканные в золоте, — преимущество и получали генуэзцы.

«Пожалуй», — думал студент, покачиваясь на киргизском иноходце, — «в самом деле нужен целый караван, чтобы перевезти сокровища Мамая! Как-то справится ловкий татарин, если клад существует и он его разыщет?»

Огромная ослепительно-белая поверхность Эльтона видна была за много верст. Вечерело, цвет соли с примесью магнезии менялся с каждой минутой, отражая последние лучи солнца. Красота озера в такие минуты изумительна, — кажется, что это огромное живое существо, гигантская медуза, отражающая небо, преломляющая отсветы дневного светила в бесчисленных сочетаниях красоты изумительной!

Остановился Зорин, загляделся, поджидая татарина, подкармливавшего по дороге свою тройку.

— Кстати, Хассимов, — сказал он, когда тот подъ-

ехал, — что это за золотая статуя, о которой вы говорили? Веса ее вы не знаете?

— Как же! Мы с муллой прикинули — около двадцати восьми пудов на нашу меру. Для нее одной подводу надо по этим пескам.

— Римская, говорите?

— Так по грамате выходит. Ее из Греции привезли.

— Удивительно! А туда она попала откуда? Не та ли это статуя победы, которую отлили греки, разбив на суше персидские войска Мордония после Саламинского сражения? Помнится, греки захватили тогда обоз Ксеркса и раньше всего отблагодарили богов этой статуей из золота, отобранного у персов. Римляне, если не ошибаюсь, перевезли ее потом в Капитолий, а куда она затем делась — неизвестно.

— Может, она здесь и лежит, недалеко от Эльтона... Что ни говорите, Василь Васильич, а вряд ли сумели найти сокровища Мамая! Кое-какую мелочишку, другие клады, возможно, и откопали, попользовались, клад же Мамая наверное остался. Есть над чем нам с вами поработать.

— Работайте уж без меня! Спасибо! — Зорин подбодрил коня, затрусил.

— Что ж, на нет и суда нет! Эй вы, монгольские!

Хассимов зачмокал по киргизски и поскакал вдогонку. Его тройка оказалась случайно разношерстной: взятый на прокат конь был мышиной масти, выигранный киргизский — рыжий, а купленный (чтобы постоять за эльтонскую фалангу) — как испанский кот,

в три цвета. Его спутанная грива, длинный полуоблезлый хвост и запыленные, когда-то белые, пятна на боках придавали ему жалкий, комичный вид.

— Вот будет штука, если греческой богине Победы придется проехаться на таком россинанте, — рассмеялся Зорин.

— А вы? Выиграли? — поинтересовалась Степановна, когда Зорин рассказал о победе фаланги в Ханской Ставке.

— Я и не играл.

— За чем же вы ездили?.. Смотреть на такую гадость? И мужчины думают, что они не дураки!

VIII

Может ли быть что-нибудь безотраднее, печальнее каспийской степи осенью? Небо — угрюмое, свинцовое: тучи, полные влаги, нависли над размоченной почвой. Все живущее в степи запряталось кто куда мог, укрылось, исчезло...

В начале осени, после бесконечной летней засухи и зноя брызнул, наконец, и на Эльтоне мелкий теплый дождичек, сперва ласковый, тихий. Спаленная, изнуренная жаждой почва обомлела от радости! Жадно пила она долгожданную влагу, утоляла свою ненасытную жажду. В миг все в степи возродилось, зазеленело, ожило... Распускались полумертвые растения, ободрились насекомые, повеселели звери, птицы; дышать стало легче, привольнее людям, животным...

Дождик же зачастил, как бы обрадовался радушной встрече на земле, осмелел; капельки его скоро сменились каплями, падали гуще, — шел уже дождь и шел беспрестанно. Завернул затем и ветер с севера, заглянул и в каспийские степи, и их не забыл он, ветер холодный, пронизывающий. Дождевые капли не падали уже тихо, отвесно, как раньше — гонимые ветром они теперь ударяли косо, с размаху, грядами, как бы подкашивая; пулями сыпались они на разбухшую землю, отпечатывая следы на песке, взбивали пузырьки на поверхности луж, раз-

летаясь в мелкие брызги; катаракты воды с шумом низвергались на землю!

Давно уже напилась почва до-сыта, степь переполнилась влагой — солончак распух, размяк, — дождь же все учащался, как из ведра лил холодную воду; проливень каспийской степи начался.

Солнце?... Его как бы не существовало! О луне и о звездах — позабыли и думать. Туман, хоть ножем его режь, — парит над размоченной степью, стелется всюду, затемняет жалкий осенний свет, в десяти шагах не распознать своей юрты.

До отвалу напившись, почва не в состоянии впитать в себя больше влаги; лужи повсюду, ручьи, в степных впадинах—озера, по балкам—реки, потоки!

Дождь же льет беспрерывно; лишь по временам, чтобы отдохнуть, как бы утомившись, или истощив запас своей влаги, он случайно приостанавливается, но на смену опорожнившейся тучи появляется в небе другая, мрачно-серая, низко-нависшая и, обрадовавшись подмоге, дождь польет с новой силой, стараясь утопить все живое, вновь создать из степей море, как оно было когда-то.

Работы по постройке линии давно прекратились: не оторвать липкого солончака от лопаты, не загасить, как нужно, извести, не развести цемента, да не выдерживали и люди без подходящей одежды, без специальной обуви.

Рабочие разбрелись, разъехались по городам, скрылись за Волгу. Лишь евреи-рядчики упорствовали в песчаном карьере Эльтона, где мужики и ба-

бы грузили песок для балластировки пути, с трудом выгоняя двугривенный, тридцать копеек за двенадцать часов ежедневной работы. Они промокали до костей, несмотря на мешки, дерюги и рогожи, которыми прикрывались. Их лапти, онучи были сплошь мокры; все же эта несчастная голытьба гналась за жалкой повагонной платой — мокрый песок не приставал к лопатам, хотя и тяжелел от воды.

Подрядчики покинули постройку одни из первых, свернув, прекратив работы, и собирали теперь на досуге основанья для юридических претензий к Управлению, в надежде получить, хотя бы по суду, возмещение своих проторей и убытков. Погорячившись на торгах, они взяли подряды по таким низким ценам, а другой работы в то время в России не было, — что не только проработались в прах сами, но разорили до нитки и своих кредиторов.

По степи нельзя было ни пройти, ни проехать, разве лишь по песчаным откосам, — колеса резали солончак, вязли по ступицу. Лишь киргизы на своих маленьких, косматых иноходцах, утопая в грязи, в набухших от влаги халатах, пробирались из степи на станцию: одни — за покупками, посидеть в лавочке, другие просто поболтать от нечего делать, на людей поглядеть, на машины, подивиться «чугунке».

Не плохо чувствовала себя теперь и пара серых Степановны, ничего не делая в конюшне. Недурно жил и сам Кузьмич, спокойно занимаясь своими вычислениями: по горло в хозяйстве, Степановна спешно заготовляла провизию впрок на долгую зиму и

оставляла его временно в покое. Продать коней она ни за что не соглашалась, считая их чуть ли не своей родней и уверяя, что таких лошадей она никогда больше не сыщет.

Зорин же и рабочие выбивались из сил, чтобы поддержать временное движение из трех пар поездов в неделю по недавно уложенной линии, — не легко было и это! Свежая насыпь размокала, беспрерывно оседала, шпалы без балласта утопали, костыли держали плохо, — паровозы разворачивали рельсы, раздвигали их, особенно на кривых и на стрелках, сходили с пути, портили полотно, насыпь. Под проливным дождем приходилось исправлять повреждения, выверять расстояния, рихтовать рельсы, поднимать паровозы, вагоны... до следующего случая.

С водоснабжением зато на Эльтоне осенью был рай. Вода — в каждой балке, в каждой лощине, и почвенная соль не могла ее быстро испортить. Хассимов работал поэтому на пути, о воде не заботился, по балкам не пропадал, о кладах не поднимал и разговора. Прекратили поиски монгольских могил и рабочие: степь — разливное море грязи, кости предков могли почивать до весны безопасно... Да вот и зима!

Наступила она на Эльтоне внезапно, как будто подкралась. Одной ночью, в ноябре, градусник в конторе испугался, ртуть его сжалась от страха, спряталась далеко вниз от нуля. Мороз завернул с севера, и какой!

Небо враз просветлело и белесоватые тучи, как

бы убоявшись за землю, обильно осыпали ее пушистыми снежинками, прикрывали степь белым мягким покровом, заботливо ее оберегая.

Тучи рассеялись, выглянуло, наконец, и долгожданное солнце; оно порозовело от холода, как бы сконфузилось, да и само оно на зимнее время остыло...

Степь, теперь вдруг вся белая, девственно-чистая, переродилась, стала неузнаваема: неровности почвы забиты снегом, сглажены, влага исчезла, вода заледенела, скрылась под белым ковром.

Лишь озеро Эльтон осталось как всегда; ее «рапа» не боится никакого холода, не изменяется, нет в ней и признака льда даже в самые лютые морозы.

Спокойно было бы зимой в каспийских степях, занесенных снегом, если бы не ветра, да не простые: метели, бураны, вьюги, пурга!

От крепкого мороза переродились скоро и сами снежинки, изменился их характер, привычки. Они не были уже, как в начале зимы, нежные, пушистые, влажные, из которых ребятишки и ребята катали шары, вылепляли снеговых баб... Снежинки почерствели теперь, стали от мороза сухие, жесткие! Ветер играл ими, переносил их, как песок, царапал ими щеки, залеплял глаза крупой, забивал выемки дороги, наносил сугробы, горы... Истинная беда на вновь выстроенной линии — снежные заносы!

Бывали такие же сугробы и летом от переносных песков, — но борьба с ними не трудная, да и работа летом спорая, легкая. Другое дело зимой да в морозы

за тридцать ниже нуля, при пронизывающем ветре! Щитов для защиты пути от заносов пока еще не было, смастерить их самим невозможно: дерева нет в каспийских степях, метели заносили выемки снегом на метр-другой глубины. Паровозы не могли пробиться даже одни, без поезда, проложить ему дорогу. О снегоочистителях — нечего было и думать! Нередко поезда застревали в снегу на сутки и больше. Приходилось работать тогда без передышки, днями, ночами, в пургу, в бураны, откапывая застрявший поезд, спасая паровоз и несчастных пассажиров, ютившихся на платформах, в товарных вагонах: пассажирских — для временного движения — Управление пока не давало.

Пришлось провести в тот год Сочельник и Рождество в сорока километрах от Эльтона, спасая поезд, да в такую метель, которую не помнили и старожилы-степняки. Стопили тогда обшивку двух крытых вагонов, чтобы поддержать паровоз на пару, предохранить его котловые трубки. Чуть сами не перемерзли, а отмороженных щек, носов и пальцев и не считали.

В конце февраля, после жестокой снежной бури и пурги, которая длилась четверо суток лишь с малыми перерывами и просветами, нагрянула весна. Весна спорая, стремительная.

Солнце пригрело, как летом, воздух стал теплый, снег на глазах исчезал, испарялся. Всюду показалась вода, зажурчали ручьи, побежали реки, потоки... А тут — и вешние воды с отрогов Урала, кото-

рые мчались по степи к Каспийскому морю, неслись сплошным валом, стеной!

Потоки воды ринулись на Эльтон с такой силой, что 27-го февраля 1906 года от крупной насыпи на реке Смарагде и от большого деревянного моста на ней — одни воспоминания! Висел где-то вверху провала рельсовый путь со шпалами, да внизу, в земле, торчали остатки мостовых свай, как бесполезные зубы старухи. Вся масса земли, над которой месяцами трудились сотни людей, длинный мост, лишь осенью законченный постройкой — все было унесено разбушевавшейся Смарагдой, такой беспомощной летом.

Начались тотчас-же работы по починке пути, чистка кюветов, откосов насыпи, строений. Переделали проект моста, приняв во внимание показания местных жителей; сообразили, что сила весенней Смарагды куда больше, чем предполагали прежде. Восстановили и временное движение, хотя и с пересадкой на Эльтоне: постройка нового моста требовала многих месяцев.

Занятый по горло, еле замечал Зорин дивную весну каспийской степи, волшебное изменение Эльтона. Удивлялся он бесконечному количеству перелетной птицы всех видов, изумительной по красоте весенней степной растительности, богатству и разнообразию тюльпанов, степных ирисов и цветов всех оттенков, как бы по волшебству показавшихся из оттаявшей почвы! Солнце же становилось с каждым днем жарче, на небе — ни облачка, влага на глазах испа-

рялась, лощины, колдобины, еще недавно наполненные водой, полные оживления, пропадали со сказочной быстротой, а с ними исчезало и все очарование растительной жизни, веселое щебетанье птиц, суета насекомых, радость редких зверей. Подходил вновь продолжительный летний период сухого зноя каспийской степи и наступил он много раньше, чем указывало на то официальное начало лета.

Работа по постройке вновь закипела. Чинили весенние повреждения, приводили в порядок постройки дома, водокачку, подвозили спешно песок для балластировки. Люди работали весело, устав от вынужденного зимнего безделья; погода, чудная уже с апреля, помогала труду. Не было и мысли о конфликте прошлого года, хотя политическое положение России не улучшилось. Грянуло «пресненское» восстание в Москве, газеты трубили тревогу, но в каспийской степи ее отголоски звучали слабо: мало было интереса к политической жизни страны, мешали заботы о насущном хлебе, да и далеко была она, Россия...

Зорин, теперь техник участка, неутомимо носился по линии, Кузьмич же не выходил из конторы, — занят был проверкой своей теории откачки жидкостей в почве. Ему собрали образцы грунтов, соорудили аквариум, окрасили фуксином налитую туда воду. Дни и вечера проверял он вычисленную им кривую понижения, в зависимости от плотности почвы, все же хлопоты по работам поручил Зорину, своему помощнику и другу. Тому же помогал Хассимов, ко-

торый вставал с петухами, хлопотал до ночи, да не забывал и клада.

— Мне бы гониометр! — обратился он как-то к Зорину, — время подходит, надо определить вторую точку...

— Не забыли, вижу, заветного клада Мамая!

IX

Плохо обстояло дело с водой на Эльтоне и в течение следующего года. Устроенный поздней осенью пруд для сбора вешних вод, оказался недостаточным, дамба его — слишком низкой, впитывание же воды в почву и выпаривание ее солнцем — много большим, чем указывала гидравлика. В начале августа, поэтому, в новом пруду оставался лишь небольшой слой тепловатой влаги, пропитанной почвенной солью. И остаток этот уже не годился ни для людей, ни для паровозов.

Приходилось прибегнуть к последнему техническому средству, чтобы обеспечить Эльтон пресной водой, средству, правда, дорогому — к артезианскому бурению. Управление раздумывало, боясь крупных затрат, и решило произвести предварительно разведку подпочвенных слоев в окрестностях Эльтона: не найдется ли в них запасов пресной воды, достаточных для потребностей деповской станции.

Работу эту поручили Зорину, — он успел уже напрактиковаться в бурении и обучил этому искусству Хассимова и его постоянную бригаду. Имевшийся на линии буровой инструмент позволял, однако, углубляться не более, как на сто метров, — не хватало обсадных труб, не было штанг, чтобы исследовать глубже. Пробурили несколько таких скважин — результат печальный повсюду. Песчаные слои попа-

дались в каждой из них, были и водоносные пески, даже под большим давлением, да вода-то в них — сплошь соленая, почти насыщенный раствор.

Встретились два раза явления и любопытные: одно просто забавное, другое — посерьезнее.

В одном месте, на глубине около пятидесяти метров, послышался вдруг из скважины шум, клокотанье — ударил фонтан! Да такой, что настил буровой вышки был сорван, унесен, как соломинка, а вслед за ним, полетели из земли буровые штанги, желонка, обсадные трубы!... Замерли рабочие от неожиданности, от страшной силы фонтана. Он бил вверх на десятки метров, гнал сотни тонн воды в минуту. Струя вылетала из глубины почвы, разлеталась вверху во все стороны, и водяная масса каскадом падала вниз, играя на солнце, переливаясь, сверкая бриллиантами.

— Серебро! Братцы! — крикнул один из рабочих; все бросились с шапками под падающие блестящие струи. Пригоршнями, подолами подбирали они у выхода нежданного фонтана осадки. Вода выносила с собой из глубины, оказалось, какие-то плоские блестящие частицы, они-то и сверкали на солнце, как расплавленный металл, как драгоценные камни.

— Не иначе, как серебро иль платина! — глубокомысленно говорил Хассимов, пробуя на зуб тончайшую пластинку, только что появившуюся на дневной свет из земных недр, — да легка, как будто... И прочности в ней нет!

Попробовал и Зорин: в самом деле, не металл! А у

подножья фонтана — уже целая конусообразная горка этого неопределенного земного элемента... Часа через два фонтан притих — уменьшилось давление в водоносном пласту. Вода же — почти насыщенный раствор соли со всеми ее обычными примесями.

— Слюда! — определил Кузьмич, тщательно рассмотрев образцы этого «серебра» или «платины»: — Металловидная мика в тончайших пластинках. Любопытно с точки зрения геологии, практического же интереса — никакого! Жаль, не наткнулись вы на пресную воду. Попытайте счастья в другом месте...

Результаты разведок подпочвенных вод и другими скважинами продолжали оставаться печальными. Пресной воды на Эльтоне — нет, как нет!

— Не горюйте, Василь Васильич! — утешал татарин: — Не на воду, так на нефть натолкнемся. Верно говорю вам. У меня нюх тонкий. В Баку она есть, на Эмбе — имеется, как же у нас ей не быть? Посмотрите сами на карту! Обсадных бы труб нам побольше, да разрешенье побурить поглубже, сотни на три, на четыре метров... Как пить дать, на нефть напоремся!

Разрешения на глубокую разведку Управление из экономии не давало, да и труб не было; о нефти же в каспийских степях никто не думал, хотя некоторые признаки ее присутствия или скопления в земле нефтяного газа имелись. Впрочем, в те времена за нефтью в России не гонялись, мало и интересовались ею: потребность в ней была небольшая, а цена на нее так низка, что нелегко было владельцам по-

местить на рынке и ту, которая сама выбивалась в Баку из фонтанов в количествах иногда невероятных.

И вот вместо нефти обнаружили раз в окрестностях Эльтона что-то другое, но что именно? — так и не узнали.

Километрах в пятидесяти от него бурили разведовательную скважину, и работа неожиданно приостановилась на глубине шестидесяти с небольшим метров от поверхности: — забастовка! Отказался работать и Хассимов. Причина — болезнь. Осматривает Зорин работы, в чем дело? Положение, действительно, не из веселых. У всех восьми человек, работавших на бурении скважины, ладони, руки, пальцы — в язвах...

— Как вам, Хассимов, не стыдно? — укорял того техник, — позаботились бы о варежках, толстых перчатках, ничего бы не было! Это от грязи, или от дрожания штанг.

— А это вам что? — рассердился татарин, — филькина грамата?... Рукавицы, да еще какие! Видите, какая толщина?

Из бараньих шкур, оказалось, рабочие давно уже смастерили себе грубые рукавицы, сохранив на всякий случай и шерсть, да не помогло и это.

— Что же тут может быть? — недоумевал Зорин: — Чем вызваны язвы? Какой грунт на глубине шестидесяти метров? Песок? Глина? Где образцы?

— Глина, как обыкновенно. Синяя, с какими-то крупинками... Да вон образцы, из желонки.

Голубоватая глина, пластичная. Такая же встречалась почти во всех скважинах, иногда ее пласты в каспийских степях мощностью до десяти метров. Вот разве эти темно-серые крупинки?...

— В ней ничего особенного!

— Ничего, думаете? Так посмотрите!... Качните-ка, ребятки, штанги!

Рабочие, больные, с перевязанными руками, ладонями, взялись за коромысло, за хомут обсадных труб, за фарштул. Штанги стали быстро двигаться вверх и вниз, — бурение началось. Качнули несколько десятков раз.

— Смотрите, Василь Васильич, вот!

Остолбенел Зорин: тяжелый, килограммов в пятнадцать стальной лом, поднесенный Хассимовым к железным обсадным трубам — притянулся.

— Что за штука? — изумлялся Зорин.

— Пристал и не отстает, чорт некрасивый! — с трудом отодрал Хассимов свой лом.

— И топор?

— И он, и лопата, и кирка! — татарин подносил их по очереди к трубе, выходящей из земли; все прилипало, как бы чудом, держалось отвесно.

— Вот так история!... Что же это? Магнетизм? Электричество?

— Что нибудь да есть там, в земле. А у нас — вот! — Хассимов показал вновь свои ладони, обе в язвах: — Как же тут работать? Посудите сами!

На рапорт Кузьмича в Управление, последнее приказало прекратить разведку в этом месте, выта-

щить обсадные трубы и перенести буровые работы в другой пункт, вестах в двадцати пяти на север. Научного объяснения пока никакого не давалось; уведомляли, однако, что запросили Академию Наук в Петербурге.

— Жалко же, Кузьмич, вытаскивать трубы и уничтожить скважину! — взмолился техник: — Должно же что-нибудь быть в этой глине!

Кузьмич раздумывал, не отвечал, не хотел ослушаться приказа Управления. На свой страх Зорин отвинтил верхнюю обсадную трубу в этой скважине — оборвались де при вытаскивании — и перенес работы в указанное место. Скважина с необычной притягивающей силой и физиологическими явлениями так в степи и осталась, лишь прикрытая солончаком на пять, шесть метров глубины от поверхности. Месяцев через шесть пришло и объяснение этого странного явления Академией Наук. Знаменитый в то время русский геолог, академик Мушкетов, написал кратко, что, по всей вероятности, огромный метеоролит упал некогда невдалеке от места бурения, он де и вызвал эти явления, которые, впрочем, нигде в такой степени до сих пор не встречались. На этом объяснение Академии Наук и заканчивалось.

— С ума они сошли, наши мудрецы! — горячился молодой техник: — Подумайте, Кузьмич, магнетическое влияние метеоролитов измеряется, если я не ошибаюсь, электроскопом, — оно ничтожное! А не притяжением топоров, ломов, как у нас.. Тут что-то другое, но что?

— «Есть многое на свете, друг Горацио,
Чего не снилось нашим мудрецам».

Кузьмич облегчил душу Шекспиром и с наслаждением затянулся папиросской, принимаясь снова за рейсфедер и треугольник, — мудреная кривая не позволяла ему отвлекаться.

— Думаете, Василь Васильич, есть там что? — задумался в свою очередь и Хассимов: — Вот если бы нефть? Стоило бы и помозговать, головой поработать!... А сила? Что в ней? В карман ее не положишь... Ребятишек забавлять разве по ярмаркам, с топором да с ломом? руки себе портить?... Овчинка выделки не стоит.

— Вам бы на клад Мамая напороться, буром-то!

— Это другое дело! Там есть что и взять. А то, говорите: сила. А какая — никто не знает.

— Какая? Может, это и есть клад, который нам оставила природа в каспийских степях, а монголы, половцы ее просмотрели, не додумались. Почище, гляди, вашего клада Мамая!

Пожал недоверчиво татарин плечами, ничего не ответил.

Подпочвенных пресных вод в каспийской степи так и не обнаружили. Увеличили слегка временный пруд на Эльтоне для сбора весенних вод и стали ждать результата бурения артезианской скважины, заложенной в долине Смарагды фирмой Ванге-ля из Москвы.

X

В тридцати километрах к северу от Эльтона должна была строиться небольшая станция; Зорин собрался ехать туда, чтобы наметить место фундамента, осмотреть кстати и вновь починенную после весны линию.

— Откуда, Кузьмич, Управление выкопало такое странное имя для станции: «Джаныбек»? — техник сверял чертежи и профиль дороги.

Инженер Кузьмич, маленький, щуплый, болезненный, с кудрявыми волосами, с небольшой проседью на висках, в форменной, как всегда, тужурке путейского ведомства с тремя звездочками, сидел за столом, погруженный в вычисления. Целыми днями он не покидал конторы, лишь изредка появляясь на работах. В конторе же он спасался, когда бурная полоса находила на Степановну и та упрекала его во всех грехах и преступлениях, будущих и прошедших, действительных и вымышленных.

— Я и сам задавал себе этот вопрос, — Кузьмич отложил перо, откинулся на спинку венского стула и покачивался на его задних ножках, затягиваясь папиросой (два удовольствия, воспрещенные ему дома): — В прошлом году я даже Управление запросил. Оказалось, назвали станцию так по имени хана, могила которого находится недалеко оттуда. Есть там,

если не ошибаюсь, и курган, под которым похоронен Джаныбек. Расскажете мне, когда вернетесь!

Помимо математики, Кузьмич занимался и историей, особенно русской, в которой был очень сведущ и именно историей тех времен, которые были мало изучены: временем монгольского ига. Он знал родословные удельных князей и их хронологию, историю распрей, каверз и предательств — благодаря чему монголы так легко и овладели в начале тринадцатого века огромной территорией России, послав туда лишь небольшой отряд.

— Что это за Джаныбек такой? — продолжал техник, приводя в порядок чертежи и планы: — Раньше Мамая он был, или после?

— Плохо же вы помните русскую историю! — Кузьмич обрадовался случаю поделиться знаниями: — Придется напомнить вам... До Мамая, понятно! Ну, что вы знаете о монголах?

— Немного, из гимназии... Да тут наслушался коекаких небылиц, все больше, впрочем, о Мамае и его кладе. Кстати, что вы думаете о кладах? Могут они быть на самом деле, или это одни россказни?

— Не занимался я этим, но думаю, что клады — явление возможное в каспийских степях. Хранить здесь иначе, как спрятав в землю, было невозможно, а монголы имели не мало ценного. И закапывать надо было скрытно, поэтому и создались легенды.

— Раз клады были, значит, они есть и теперь — ведь расхитить их было некому! — «Не сказать ли Кузьмичу про столб на берегу Эльтона?» — мельк-

нула у него мысль: «Кузьмич способен вычислить координаты и не ожидая восхода и захода солнца в определенные дни... Да, но Хассимов не сказал, в какие дни именно. Лучше не впутывать ни в чем неповинного Кузьмича в эту запретную авантюру».

— Теперь некому, — согласился Кузьмич, — здесь и нет почти никого, а раньше было не то! Когда-то в степях народу водилось много, особенно вокруг Эльтона. С упадком монголов, население каспийских степей стало уменьшаться и нынче дошло почти до нуля. Прежде, значит, могли и пограбить, выкопать, что спрятано... Даже наверное: солончак хранилище ненадежное.

— Пожалуй... Но Джаныбек, на могилу которого я еду? Каков он был? когда?

— Присаживайтесь, рабочие с дрезиной подождут, — Кузьмич закурил папиросу, покачивался на стуле, собирался с мыслями: — О Чингис-Хане я говорить не буду, это слишком долго. Скажу только, что это был необычайный полководец и замечательный политик. Правда, временами он был безжалостен, кровожаден, но уж такое было тогда время. Впрочем, люди с тех пор изменились мало, придумали только другие лозунги, формы... Размеры созданной Чингисом империи — колоссальны, последствия ее для истории народов исключительны. Сам он, хоть и неграмотный, а понял значение прогресса, применил на благо подданных все лучшее, что было известно в те времена и чем другие страны воспользовались лишь много столетий позже. Добавьте к этому

веротерпимость Чингис-Хана, его справедливость, простоту, личное мужество...

— Виноват, Кузьмич, вы хотели рассказать о Джаныбеке, а увлеклись Чингис-Ханом!

— Это необходимо для уяснения общей обстановки той эпохи и причины властвования монголов. Ведь Чингис-Хан и послал своего сына Джебэ и полководца Субботэя в 1220 году из Персии на север до реки Камы, чтобы познакомиться с соседними странами в этом направлении. Этот небольшой монгольский отряд покорил Кавказ, разбил затем на-голову при реке Калке русские и половецкие войска. Видя свою беспомощность, русские князья и признали власть хана; монголы же наложили ежегодную дань и ушли.

После смерти Чингис-Хана русские и половецкие земли достались старшему его сыну, Джочи, а после него — Батыю, который подчинил себе почти все русские княжества, разбил поляков, германцев и дошел до Адриатического моря. Батый и основал Сарай около Эльтона, недалеко от нас. Сарай быстро развился, стал чуть ли не столицей Европы того времени. Лучшие сведения о нем дает марокканский ученый Ибн-Батута, которого привезла в Сарай дочь императора Палеолога, жена хана Узбека, отца Джаныбека.

Помимо истории Ибн-Батута, — продолжал Кузьмич, — есть не мало других описаний Сарая и быта монголов того времени. Интересные воспоминания о Сарае оставил епископ де-Монтекорвино, утверж-

давший, что дорога из Европы в Азию через Крым, Сарай и закаспийские степи — самый удобный и безопасный путь в Китай.

Русские князья подчинились власти ханов, платили им дань, поставляли невольников, доносили, подкапывались друг под друга. Даже Александр Невский целовал стремя хана, испрашивая его позволения на войну со шведами. Иван Калита пошел еще дальше: он получил от хана в свое распоряжение пятьдесят тысяч человек монгольской конницы, благодаря которой ему и удалось расширить владения вокруг Москвы, победив других русских князей.

— А Джаныбек? Про него вы совсем забыли!

— Дойдем и до него. Расцветом Золотой Орды надо считать ханство Узбека, отца Джаныбека — 1312-1340 г. Этот хан почти не воевал, не думал о расширении владений. Он приглашал к себе ученых Китая и Запада, докторов теологии, позволял всем проповедывать беспрепятственно свои вероучения, вербовать приверженцев. Не вмешивался он и в запутанное положние Европы, особенно в ее увлечение крестовыми походами, кончавшимися полным крахом. Не раз папские послы (например, легат де-Мариньола) пытались вовлечь его, совместно с католиками, в борьбу с магометанами, но это им не удавалось, несмотря на богатейшие дары картинами, невольницами, золотом и лошадьми, которые папа присылал из Рима в Сарай.

Сын Узбека, Джаныбек (1340-1352) продолжал политику отца, но под влиянием своей жены, гречанки, и ее греческого окружения, поссорился с генуэзца-

ми, поселившимися в Крыму, где они богатели. Он разбил итальянцев и изменил условия их концессий, но позволил им продолжать торговлю. Он-то, этот хан Джаныбек, и погребен в том месте, где будет теперь стоять станция астраханской дороги.

— Спасибо, Кузьмич. А после Джаныбека?

— Упадок величия монголов после него и начался. Дети ханов не признавали авторитета старшего брата, враждовали между собой, подстрекаемые их матерями разных национальностей. Дисциплина, внутренняя спайка монголов стала разлагаться, чем русские князья и воспользовались... При Мамае, одном из внуков Джаныбека, монголы воспрянули было духом, объединились, разбили русских при Воже и, как мне кажется, и при Куликовом поле, но на Мамая внезапно напала Белая Орда, которая покорила Золотую, а вместе с ней и Россию. Мир и порядок, установленные в Азии Чингис-Ханом и его наследниками, отошли в область преданий! Уже Котас, папский посол в Китае, отказался ехать через Сарай, считая путь неблагонадежным, тогда как сто лет перед тем можно было спокойно путешествовать от Сарая до Пекина, не имея с собой ни охраны, ни оружия.

— В те времена-то, когда в Европе опасно было выйти из дому на улицу? когда в Европе грабили и убивали на всех перекрестках?

— Европа тогда и понятия не имела о порядке, который Чингис-Хан установил в Азии. Кстати, дорогой мой, знаете ли вы, что монголы ввели тогда-же

ассигнации, позаимствовав эту идею от китайцев на много столетий раньше Джона Лоу?

— Слышал, но сомневался.

— Верно! И не одно это. Почта, передвижение на подставных лошадях, выборное местное управление и многое другое, все это введено было ими, но об этом как-нибудь потом...

— Странно... По вашему выходит, что монголы в тринадцатом веке были более культурны, чем Россия в то время? чем Европа?... Они же грамоты не знали, у них даже письменного языка не было.

— Во-первых, взгляд на грамотность и ценность ее менялся со временем. В средние века быть грамотным и не требовалось. Для этого в России существовало сословие дьяков и подьячих. В Европе же этим занимались монахи и специалисты. Многие короли европейских стран умели только, и то с трудом, подписывать свое имя... Не забудьте, что Наполеон Первый писал по французски с грубыми ошибками, а еще хуже он говорил на нем. Он не стеснялся употреблять вульгарный корсиканский диалект даже в торжественных случаях, не находя французских выражений. Что же касается письменного языка, то у кого в те времена он был? Монголы обходились замечательным письменным языком китайцев, языком трудным, разработанным до высокой точности, дипломатическим. Вы знаете, наверное, что в нем нет ни склонений, ни спряжений и что возможность различного толкования фразы, написанной мысли, устранена благодаря этому совершенно. Пользовались

монголы и арабской письменностью, — она стояла тогда на очень высоком уровне. Европа же обходилась в те времена латинским языком, так как местные языки и наречия годились лишь для обиходной жизни, — писать на них было невозможно.

— А как в смысле культуры?

— Этот вопрос очень сложен. Сколько личных взглядов внесли в него историки, ученые, выдавая свои мнения за исторические факты, за истины! В России считают, например, что нашестие монголов было несчастьем, наказанием Господним... и что русские были раздавлены массой каких-то дикарей! Мне же сдается, что Чингис-Хан открыл в те времена для России двери в более культурную Азию, колыбель всех цивилизаций. Ведь все культурное, возвышенное, в смысле духовном, моральном, все — из Азии.

— Но монголы пропали в России! Наши предки их победили.

— Монголы не были побеждены; они были переварены Россией, совращены русской жизнью, соблазнами. Две страны никогда не будут покорены: Россия и Китай, — благодаря их пространству, характеру, инертности населения. Они могут быть разбиты, захвачены, очутиться под игом, под чужестранной пятой, но в конце концов победитель станет побежденным: он будет переварен. Чего только ни испытала Россия! После монгольского ига поляки занимали Москву, посадили нам на царство своего короля, но сами попали под влияние русских женщин,

широкой жизни, русских привычек, всякого рода соблазнов, затруднений. От польского владычества, как и от французов, от немцев, ничего не осталось. То же было и с монголами, хотя эти, более культурные по тому времени, продержались в России два с лишним века, а еще дольше царили они в Китае.

— Разве не монголы внесли к нам тьму, невежество?

— Совсем не так! Отсталость русская вызывалась постоянной междоусобной войной, распрями и противодействием Западной Европы влиянию Азии. Монголы же, напротив, объединили множество различных народностей, входивших в состав России, влили здоровую азиатскую кровь в жилы славян и вдохнули в них дух свободолюбия, которого так не хватало славянам. «Slave-esclave» — это мнение существует и сейчас. Сотни лет, тысячелетиями наши земли поставляли рабов в Азию, Африку, Европу. Славяне-рабы развлекали римлян в Колизеях, на аренах, где скифы сражались с германцами, где сарматы-гладиаторы приводили упитанных латинян в восторг своею силой и презрением к смерти. Славяне-пленники прислуживали азиатам, гребли на галерах, пахали землю, таскали за собой плуги, повсюду унижались, страдали, умирали в неволе! Вместе с кровью монголы влили в аморфную славянскую массу любовь к родине, научили дисциплине, показали значение и важность взаимного сговора, понимания друг друга. Благодаря монголам, Россия имела людей типа Годунова, Карамзина, тысячи других, кото-

рые и создали ее величие. Пусть каждый русский взглянет на себя в зеркало: следы двухсотлетнего властвования монголов в России — перед ним! Проанализируйте душу русского человека теперь — его фатализм, решительность, внутреннюю спайку, все это — результат монгольского нам наследства.

— Настоящий, ценнейший клад,— закончил Кузьмич,— который оставили нам монголы, это их здоровая кровь, закаленные души, их крепкий характер. Что перед этим какие-то безделушки, которые они, возможно, закопали здесь... Впрочем, я заговорился. Вам пора и ехать. Вы с кем? с Хассимовым? на дрезине? Возвращайтесь во время, а то достанется нам с вами от Степановны.

XI

На станционном пути Эльтона красовалась, ожидая Зорина, недавно полученная там дрезина. Хотя поезда в этот день не предвидилось и опасности от паровоза быть не могло, все же на дрезине гордо развевался, как полагается по уставу, красный флажок для предупреждения.

Дрезина была старая, потрепанная, снятая с другой какой-то линии, где она отслужила свой срок, но для постройки астраханской дороги она была диковинкой, подымала престиж начальства: за честь считалось и для рабочих проехаться на ней.

Два здоровых парня крутили рукоятку, стоя позади; Зорин и Хассимов расположились на сидении с иструментами и чертежами. Дрезина ровно катилась, постукивая на стыках; заржавевшие, еще необкатанные рельсы, казалось, не чувствовали ее тяжести, только шпалы на свежей насыпи из солончака слегка пошевеливались. Дрезина была не тяжелая, — вчетвером ее снимали с рельс, освобождая путь, — но рабочие крутили не спеша: дорога в семьдесят километров в оба конца не шутка! Подъемов на линии почти не было, мешал лишь небольшой случайный ветерок. Зорин и Хассимов сменяли время от времени рабочих, чтобы дать им отдохнуть, покурить.

Кругом лежала беспредельная, безотрадная степь,

так недавно еще, после вешних вод, вся зеленая, приветливая. Оживленная перелетными птицами еще в конце апреля, она стелилась во все стороны теперь молчаливая, сжавшись от пекла, покрытая колючками, редкой степной травой, да кое-где откосами переносного песка, как бы застывшими морскими волнами. Желто-красные резервы, откуда хохлы-грабари еще так недавно брали землю, тянулись по обе стороны, как незарубцевавшиеся раны.

— Эх ты, степь, ты наша матушка!— вздохнул Хассимов, передавая рукоятку отдохнувшему парню: — Скоро ли начнется здесь жизнь настоящая? Думалось мне, что постройка всколыхнет мертвечину, что вместе с рельсами и дела придут сюда, что люди нахлынут, жизнь здесь закипит! А выходит — ничего! Какой была степь, такой и осталась... И почему дорогу ведут от Саратова, а не от Царицына?

— Петербург так решил. А что до степи, то и я думал, что дорога оживит ее, да ошибся. Наехал народ, когда шли земляные работы. Рельсы уложили, все и схлынуло. Остались на Эльтоне два-три торговца, да и то надолго ли? Что-то, в самом деле, не то!

— Понятно, не то, Василь Васильич. Буд я на месте Петербурга, стал бы я так строить? Для чего дорога?.. Грузы возить, пассажиров. А откуда их взять, когда в степи ни собаки? Хотя бы Джаныбек этот: кому нужна эта станция?

— Пока никому, а потом будут и грузы.

— Будут? «Пока солнце взойдет, роса глаза вы-

ест». А почему не привлечь их теперь же? Разве дороге не выгодно получить грузы как можно скорей? Вместе с постройкой я стал бы развивать и самое степь, — не такой же ей оставаться! Денег тратят на постройку линии уйму, так прибавь еще немного, чтобы грузы поскорее получить! Призови людей, поддержи их, лишь бы старались. Один пусть землю обрабатывает, другой — шерсть собирает, прядет, третий — из костей да из рогов и копыт скота клей варит! Товары для дороги и собрались бы. И пассажиры готовые. А так, и двадцать лет дорога прождет пассажиров и грузы, все будет убыток!

— Вашу систему применили, я знаю, в Америке при постройке «Канадиан Пасифик». Там даже еще шире вашего размахнулись, и результат оказался блестящий... На то — Америка! А наш Петербург по старой дорожке норовит. Результат же неважный. Общего плана нет, вот в чем беда!

— Кабы воля моя, взял бы я всех этих петербургских господ да, как котят, в Эльтоне и утопил бы...

— Не утопишь, Хассимов, — засмеялся один из рабочих, — «рапа» тяжелая, выпрет наружу, да на берег!

— Сами повыскочут! — поправил другой, помоложе: как куснет их рапа за одно место, за ними и на коне не угонишься. Вроде как скипидару под хвост. Ха-ха!

Сменяя друг друга, весело догнали дрезину до места будущей станции «Джаныбек». Наметив там рас-

положение здания и ширину котлована*), Зорин и его спутники направились к холму, недалеко от линии.

Холм этот — из солончака, без фундамента, без каменной кладки: простой грубый конус. Земля для него принесена была, согласно преданию, войсками Джаныбека в пригоршнях, чтобы воздать почет своему вождю. Предание хотело, очевидно, подчеркнуть огромное количество войск этого хана и их любовь к нему. Вероятнее же, однако, что насыпан был курган способом менее поэтическим, но более понятным: лопатами и арбами — холм огромный. Корни вереска, колючки и степная трава по бокам конусоообразного кургана и помешали бурям и ливням разрушить этого незваного степью пришельца. В нескольких местах на уровне почвы — следы работы позднейших времен: остатки раскопок степных грабителей в погоне за останками погребенного хана. Кое-где следы эти почти уничтожены временем, заросли мхом, травой; другие, более позднего происхождения, сохранились лучше.

— Эх, брат, вот бы копнуть где! — вздохнул рабочий помоложе.

— Овчинка выделки не стоит! — Хассимов успел уже осмотреть следы раскопок: — Без креплений здесь работать нельзя: грунт насыпной, обвалится — задавит! Да и что тут хорошего? кости Джаныбека? оружие?

---

*) «Котлован» — углубление в земле для закладки фундамета.

— Вы думаете, хан и впрямь здесь погребен?

— Где же больше? Только добраться до него не так-то просто. И для чего? Похоронили его в боевых доспехах, — все из стали, теперь они поржавели. Вместе с ним закопали и его любимого коня и лучшего генерала, убив их на могиле хана... Это для того, чтобы в новой жизни он их под рукой имел. А на случай поразвлечься на том свете, закопали с ним живыми сорок самых красивых девственниц в подвенечных нарядах.

— На этих то, гляди, золотые мониста и были да ожерелья жемчужные, — пожалел дрезинщик.

— Подвенечных так не одевали. Ценного на них ничего не было. Так полагалось по обычаю монголов, до перехода их в мусульманство.

— Джаныбек прихватил, гляди, и сокровища на всякий случай? — пошутил техник: — Не закопал ли он их в землю, как Мамай?

— Надобности у него в том не было. После него все досталось сыну... А что теперь делать будем, Василь Васильич? — добавил Хассимов, немного помолчав: — Домой?... Или завернуть к молоканину? Ребята отгонят дрезину, а мы слезем на полпути, до Ржаного пехтурой и дойдем... Коль устанем, коней у него возьмем, в конном строю вернемся.

— Можно и так. Этот Ржаной — кто?

— Молоканин, субботник. Я вам про него как-то говорил. Малый — во какой! Дошлый!

— Это тот, что кубышку нашел? В прошлом году вы мне про него говорили.

— Не он нашел, он только ищет.

— Ни черта он не найдет! — засмеялся дрезинщик постарше: — Мой батька хорошо это дело знает.

— Найдет ли, нет ли, там видно будет, — многозначительно изрек Хассимов.

— Там, господин техник, и искать нечего, — добавил другой рабочий, — никакой кубышки там не было и нет!

Они слышали, было ясно, о кубышке, думали о ней, но в существование ее веры у них не было.

XII

На полпути до Эльтона Зорин отпустил рабочих с дрезиной и пошел с Хассимовым в сторону от линии. Несмотря на жару, кочки и колючки, татарин шагал быстро: знал, видимо, хорошо, где находилось становище.

— Что это за человек, к которому мы идем? — спросил Зорин: — Выходит, и рабочие его знают?

— Как его здесь не знать? Вы тоже встречали его на станции... А кто он? — разве угадаешь... Одни говорят — молоканин, другие — субботник, а кое-кто побалтывает — хлыст... Богатый, потому и завидуют.

— Кто же кубышку нашел?... И что это за кубышка?

— Старик один, он у молоканина вроде как родственник. Да дело это давнее, лет сорок тому назад... Нашел и зарыл, чтобы не узнали, с того и началось. Проведали, стали допытываться. Одним он говорил: забыл, куда спрятал; другим — ничего де и не находил. А теперь и совсем молчит: свихнулся от старости, что ли... Да вы его увидите, он от становища ни на шаг, как пес сторожевой у молоканина.

— Вы называете его то молоканином, то субботником: старовер, значит? Впрочем, почти все здесь из сектантов.

— Кому же тут быть другому — в степи то этой?

Да люди они не плохие, только вроде как помешанные. Деды их ушли когда-то в степь от преследований, здесь и стали заниматься, кто скотом, кто — чем другим. Водки они не пьют, табаку не курят, в церковь не ходят, попов сами себе выбирают, а то и без них обходятся, сами читают вместо попов, сами и служат. Ну, а потом, кто во что горазд. Одни крещения не признают, другие в воскресение не верят, а в субботу, как жиды, отсюда и «субботники». Молокане капли крови не прольют, мяса в рот не возьмут, — поэтому и «молокане». Закон, значит, им не дозволяет. Со многими сектами правительство боролось во — как: в солдаты староверы итти не хотели, от ружья — что чорт от ладана. Пришлось правительству даже уступить—берут их теперь только в обозы да туда, где стрелять и убивать не надо... Не мало тут и других всяких: методистов, штундистов, беспоповцев.

— А хлысты?

— Эти — дело другое. Этих и сейчас по головке не гладят. Оно и есть за что. Эти и самих себя бьют до полусмерти и других лупцуют... Говорят, и того хуже.

— Читал я кое-что в романах про эту секту. Она появлялась на Урале, в Сибири, а когда-то и в России... Представьте себе, ее обнаружили раз даже в Петербурге, и где? — в царском дворце! Помнится, при императоре Павле: жена дворцового коменданта, если не ошибаюсь, Татаринова, и была хлыстовская богородица. Не мало тогда придворных и

дворцовых чинов вошло в эту секту. Когда это стало известно, Татаринову в тюрьме уморили или казнили на плахе; влетело тогда и всем остальным.

— И за дело! Таким нельзя потакать. Я слышал, что они мальчиков холостят, чтобы от греха плоти избавить...

— Это — скопцы, а не хлысты.

— Все равно! Тех же щей, да пожиже влей... Однако, скоро мы и до становища доберемся. Слышите?

Откуда-то доносилось собачье тявканье — жалобное, визгливое, на высоких нотах, как лают киргизские псы. Неожиданно, как из под земли, выскочила собака, за ней другая. Они перебегали с места на место, беспрестанно лая, но боялись приблизиться. Обе были белые, лохматые, грязные, с короткими ушами и острыми мордами.

— Где же становище? — удивился Зорин.

— Тут, в балочке. Молоканин всегда так его ставит, от воды поближе. Говорит, для деда.

В небольшой котловине виднелся жиденький ряд тростников — там, где в почве оставался еще запас пресной воды. Оттуда брали ее для кухни и для скота из неглубоких ям (чтобы не затронуть соленой воды). Там и находилось становище молоканина. Состояло оно из киргизской юрты и двух степных кибиток; на их приподнятых оглоблях — что-то вроде шалашей из кошмы и холста. Недалеко от юрты чадил кизяк под треножником. В подвешенном котелке готовилась пища. Около огонька сидела женщи-

на в киргизском костюме и кормила грудью ребенка. Двое полуголых ребятишек бегало тут-же. Увидев пришедших, киргизка вскочила, подхватила детей и скрылась в юрте.

— Эй, хозяин! Ржаной! Принимай гостей! — весело кричал татарин.

— Сейчас выйдет, — послышался дряблый голос: — Это ты, Хассимов?

Из юрты показалась странная, полусогнутая фигура дряхлого старика с лысой головой. Мелкими, неуверенными шажками босых ног он подошел к костру.

— Здравствуй, дед Суслик! — поздоровался с ним татарин и пожал ему руку: — Начальника к вам привел, проси честью!

При слове «начальник» старик недоверчиво, с испугом посмотрел на студента и на его форменные брюки с кантом.

— Ржаной сейчас придет, — прошепелявил он: — Присаживайтесь, пожалуйста. Я кумыску принесу... Или барашка сготовить?

— Ничего нам не надо! — совестно было Зорину утруждать такого старца: — Мы зашли по дороге, отдохнем, пойдем обратно.

— Нет, нет, дед! — бесцеремонно поправил Хассимов: — Мы возьмем у Ржаного коней, пусть довезет нас до станции... А кумыса мы выпьем, только давай того, что покрепче.

— Ржаной будет сейчас, а я пока кумысок поставлю.

Старик заковылял к юрте. Из дыр его старого разорванного киргизского халата торчала грязная вата.

— Кто это, Хассимов? — спросил Зорин, как только старик скрылся: — Неужели тот, про которого вы говорили?

— Он самый. Штука тонкая... Потом расскажу.

Почти тотчас же старик вернулся из юрты. В одной руке он нес неполную четвертную бутыль, а в другой — деревянные грубо раскрашенные миски. Полы халата распахивались на ходу старика, вес бутылки перекашивал его и он брел, переплетая худые, как у скелета, ноги, покачиваясь из стороны в сторону.

— Помочь вам, дедушка? — поспешил к нему Зорин.

— Спасибо вам. Мы привычны.

Старик поставил бутыль и миски у кошмы, сел на ее краешек и стал наливать кумыс, держа бутыль на коленях.

— Добро пожаловать! — послышался голос со стороны юрты, откуда вышел, не спеша, среднего роста мужчина в пиджаке, русской рубашке на выпуск и в летних серых штанах. На ногах — сапоги с высокими лакированными голенищами, блестящие, как новые. Без картуза, с тщательно причесанными светлыми волосами, только что смазанными маслом, он напоминал прасола средней России в праздничный день.

— Спасибо за честь! Очень рад, — нараспев го-

ворил он, здороваясь с пришедшими, — прошу не прогневаться!

Средних лет, невысокий, худой, с кирпичного цвета обветренным лицом в глубоких морщинах, Ржаной, хозяин становища, как понял Зорин, перебегал глазами от него к Хассимову: — Гостями будете, — повторил он, пожимая им руки и прося садиться.

— Кумыску, пожалуйста, — прошамкал старик, протягивая тощей рукой деревянную миску. Зорин, взяв ее, опустился на кошму рядом с ним.

— Сюда пожалуйте, Василь Васильич! — Хассимов бесцеремонно потянул студента за рукав, указывая на свободную середину кошмы.

— Мне и здесь хорошо.

— Никак нет, здесь лучше будет. Дед нездоров, вам лучше от него подальше! — настаивал татарин.

— Оно верно, так спокойнее! — согласился хозяин, когда Зорин пересел на середину кошмы: — Мы то привычны, а вам надо поосторожнее.

— Чем вы, дед, страдаете?

— Вши у него, — Хассимов не ожидал ответа старика: — Они проели его до костей, свили гнезда под кожей, там и живут. От него сторонятся все, даже киргизы. Поэтому и зовут его «Вшивый Дед».

— Что же вы, дедушка, не лечитесь? Приезжайте на станцию, наш фельдшер даст вам мазь, они и передохнут.

— Зачем ее убивать, вошь-то? — прошамкал старик: — Сотворил ее Господь. Так, значит, и надо.

Голос его был протяжный, произносил на «о», как говорили на Волге.

— В уме ты, дед Суслик? — вмешался Хассимов: — Тарантулов и змей убиваешь? Нет?... А сусликов своим штопором сколько погубил? Небось, тысячи, миллионы?.. А они тебя не забижали!

— Молод был, ну и озорничал, — шамкал старик беззубым ртом: — Хотел пожить получше, думал — богатый три раза в день обедать может. За то Господь меня и наказал... У сусликов, гляди, души тоже есть. Змеев да тарантулов Он же сотворил: так, значит, и быть должно. Жить и они хотят. И вши тоже... Раньше, может, души их в сусликах сидели, а я их жизни лишил. За то они теперь меня и гложут. Я то их зря загубил, а они меня — за дело! Так-то...

— Ты стал такой, как молоканином заделался? — усмехнулся татарин.

— Молокане плохого ничего не делают. Всякая тварь жить хочет. Всякой назначил Господь ее час. Он и приберет ее, когда положено.

Дед замолчал, нахмурился и уставился на костер.

— Давно вы тут живете? — обратился студент к Ржаному.

— С весны. Каждый год стада сюда пригоняем, ну и селимся то тут, то там, где воды побольше.

— Много у вас скота? лошадей, баранов?

— Кто их считал, овец-то? Осенью будем мерить, тогда видно будет.

— Вы, может, и не знаете, Василь Васильич, — пояснил Хассимов, — овец и баранов в степи не счи-

тают, а меряют «загоном», огороженной площадью, куда напускают овец и баранов вплотную. У Ржаного, я думаю, тысяч десять-пятнадцать голов здесь пасется. Не так-ли, хозяин?

— Может есть, может и нету.

— Прибедниваеться он. У него одних верблюдов, гляди, с сотню в караванах ходит, да лошадей... Ну, хозяин,— обратился он к Ржаному,— мы сюда пехом дошли, с линии-то, а отсюда до станции далеко. Дай ка нам коней!

— Будьте любезны. Только повозки у меня здесь сейчас нет. Верховых разве?...

— Давай верховых. Не забудь и киргиза. Он их и приведет потом.

— Зачем? Отдайте коней в лавку, Жуку. Завтра их и возьмут.

Он пронзительно свистнул, положив один палец в рот, как умели свистеть в России кое-кто из степняков. Небольшого роста киргиз в меховой шапке появился из-за кибитки, выслушал приказание по киргизски и скрылся.

— Скоро ли поезда пойдут до Астрахани? — обратился Ржаной к студенту: — Надо бы мне съездить туда, а ехать на пароходе времени мало.

— Временное сообщение скоро установим, хотя с пересадками на Смарагде и около Астрахани, на Большой Балде, из-за мостов.

— Так. Лучше тогда будет, для степи-то. Особливо зимой.

Ржаной внезапно встал, поправил рубашку, про-

вел ладонью по намасленным волосам. — Родственница моя, господин начальник! — проговорил он, смотря в сторону кибиток.

Только тогда Зорин заметил, что один из шалашей из белого холста с кошмами вокруг был побольше. От него шла женщина, молодая, судя по ее походке, легкой, эластичной. Гости встали вслед за хозяином.

Из под короткого платья простого монашеского покроя, из сарептской сарпинки нежного, почти белого цвета с еле заметными рисунками, у подходившей видны были высокие киргизские сапожки зеленого сафьяна с желтой богатой отделкой по длине голенищ. Талию женщины перехватывал широкий кожаный ремень с простой пряжкой; голову покрывала белая, накрахмаленная, надвинутая на глаза косынка.

— Ирина Алексеевна, — обратился к ней хозяин, представляя гостей, — господин начальник со станции со своим помощником!

Он посторонился, чтобы дать ей место. Пришедшая подала руку студенту, Хассимову и опустилась на кошму. Сапожки ее обращали на себя внимание красивой отделкой и причудливой восточной формой загнутых носков. Не поднимая головы, она взяла поднесенную Ржаным миску кумыса, протянув небольшую выхоленную руку с длинными тонкими пальцами и миндалевидными ногтями.

— Виноват, вы давно здесь живете? — спросил Зорин.

— Я приехала три дня тому назад, — медленно проговорила она, посмотрев на студента, и снова наклонила голову. Тот успел все-таки увидеть ее лицо с правильными чертами, неестественно бледное, молодое, красивое. Огромные карие глаза блеснули на мгновение и скрылись под опущенными веками.

— Ирина Алексеевна живет около Новоузенска, — пояснил Ржаной, — иногда заезжает и к нам.

— Если пробудете здесь, пожалуйте на станцию, —студенту захотелось встретить еще ее изумительный взор.

— Я наднях уезжаю... Потом, как-нибудь... Спасибо!

Она подняла голову и опять посмотрела, на этот раз уже пристально. Карие глаза ее показались студенту еще глубже и красивее, но он не знал, что сказать еще...

— Что же ты, Суслик, замолк? — пошутил над дедом Хассимов. Старик насупился, не отвечал.

— Оставь его, Хассимов, — вступился Ржаной, — выпей-ка лучше кумыску. Устали ведь с дороги? — обратился он к студенту: — Вы издалека?

— Из Джаныбека... Уж очень жарко сегодня. Дышать нечем, особенно когда дрезину покрутишь... А вы эту жару переносите? — вновь обратился он к сидевшей неподвижно женщине.

— Привыкла, — ответила та, не поднимая головы.

— Да? Как же вы путешествуете? Неужели верхом?

— Когда как... У меня в степи много знакомых, родных.

Зорин попытался еще вовлечь ее в разговор, но без успеха. Своим певучим низким голосом она отвечала односложно, как бы нехотя.

— Что же, господин начальник, — Хассимов видел, что беседа не налаживается, — не пора ли нам и на станцию? Лошади-то скоро будут, Ржаной?

— Кони приготовлены, за юртой вас поджидают, — отъезду гостей молоканин как будто обрадовался...

Поблагодарив хозяина за гостеприимство, попрощались с молчаливой женщиной, которая и на прощанье не сказала ни слова, даже не взглянула на студента.

Лошади под киргизскими седлами были плохие, — шеи худые, мослаки голов острые, все ребра видны под кожей, хребты — как ножи.

— Ну и кони у тебя, Ржаной! Прямо скелеты! По всей степи хуже не сыщешь, — не удержался татарин, грузно усаживаясь в глубокое седло.

— Худоваты, оно верно. Осенью поправятся.

— Чем кормишь-то? Полынью да колючкой, как верблюдов... Зачем стада здесь держишь? — наседал Хассимов на молоканина, ожидая пока киргиз принесет плетки: — И ведь не один год уже! Ты, говорят, лет десять, как тут пасешь... На север бы тебе, там воды хоть отбавляй и трава по колено. А?.. Понравилось больно, или что тебя держит здесь?

Ржаной подтягивал подпругу на коне студента и не отвечал.

— Язык проглотил, что-ли? — не унимался татарин: — Свое что затерял здесь, или найти чужое хочешь. А?... Время зря не потеряй! Не помочь-ли? Пополам и поделим, как найдем что...

— Вы на коротких любите? — Ржаной заботился о студенте и, казалось, не слушал Хассимова, — как драгуны? Не то — на длинных? По киргизски или по казацки?

— Все равно, здесь недалеко.

Попрощавшись еще раз, гости шагом тронулись из котловины, уже покрытой сумерками.

XIII

— За что, Хассимов, вы так напустились на вашего знакомого? — не удержался Зорин: — Он нам коней дал, кумыс поставляет на станцию, баранов, а вы его облаяли... И кто эта дама или барышня? Вы ни слова ей не сказали.

— Эта?... Никогда раньше не видел. Кольца на ней нет: барышня, пожалуй. Родственница, говорит... Вокруг куста, гляди, венчана. А лаять я на него не лаял — дело говорил. Ишь, живодер, скотину как с тела спустил: кожа да кости!

— Вина не его, травы мало.

— Не его?... Дядина, значит! Чего он тут сидит? А?.. Разве здесь место для скота, да в эту пору? А знаете почему? Нет? Из-за кубышки... Вот из-за чего!

— Опять вы на кубышку съехали, а я ничего о ней и не знаю. Расскажите толком. Значит, она есть и в самом деле? Или — была?

— И была и есть. Из-за нее Ржаной здесь и сидит. Потому и вшивого деда держит. Потому и скот свой голодом морит.

— Кстати, что это за прозвище «Суслик»? Как же его настоящее имя?

— Кто его знает. Все прежде так звали, а теперь больше: «Вшивый Дед». А Сусликом, гляди, потому, что он был когда-то первый на них охотник. Этим и

кормился. Работал поштучно, поля от них очищал... И, рассказывают, здорово присноровился. Ловкий он тогда был, ну и придумал штуку: из вязальной иглы широкий штопор сделал, закалил его и прикрепил к медной мягкой проволоке. Вставит этот штопор в норку и станет крутить. Упрется острый конец штопора в тело, в глубине норки, просверлит его, — суслик и здесь!

Хассимов бросил повода коня и руками пояснил, как ловкий охотник брал когда-то сусликов таким диковинным способом, не прибегая ни к воде, ни к керосину: — Этот вот штопор и навел его на кубышку.

— Как так?

— А так. Запустил он раз, давно это было, штопор в одну сусликову норку, недалеко от Эльтона. Крутит, винтит, — царапает штопор по чему-то твердому. Дед — не дурак. Стал копать, рыть... Видит — кубышка, да здоровая! Под ней-то суслик себе квартиру и устроил. Потащил дед кубышку, а тащить трудно — тяжелая. Выпер ее на свет, сбил крышку — ахнул: полна золотых монет! Разложил зипун, высыпал, пересчитал: пять тысяч с лишним и все золотые, старинные, персидские. А на дне кубышки — три ожерелья, и жемчужины — в орех!

— Откуда вы знаете? Дед говорил?

— Теперь не говорил, а лет тридцать назад, под пьяную руку и проговорился. С тех пор, кажись, он молоканином и заделался, пить перестал... Дальше рассказывать, что-ли? Взял он себе тогда пригоршню

золотых в карман, остальные обратно в кубышку. А куда спрятать? На старое место?.. Боязно. Подумал, подумал, видит — балочка близко. Оттащил он туда кубышку, закопал, как надо, притрусил, место приметил и — на коня! По дороге продать побоялся, доехал до Саратова. Стал там присматривать, кому бы золотые сплавить, да видит: опасно. Переехал опять через Волгу, в Покровскую Слободу, жидка одного присмотрел там, часовую лавчонку тот держал. Показывает ему золотой. «Не украл?» — спрашивает жид. «Нет», говорит, «от бабушки». — «Один — неинтересно. Была бы партия, цену хорошую бы дал». — «Десяточек, говорит Суслик, найдется». — «Не партия! За сотню я по десять рублей дал бы за штуку и никому ни слова». — «Может, и с сотню наберу», — обрадовался Суслик, распорол подол, куда были зашиты монеты, высыпал их на прилавок, стал считать. Около сотни насчитал. А жид прикрыл их рукой и кричит подручному: «Городового! Этот жулик клад нашел, да не заявил, в тюрьме и подохнет!» Взмолился Суслик, клялся, что от бабушки, предлагал сбавить цену наполовину — да куда там!.. Дал ему жид сто рублей за все сто золотых и отпустил. Обрадовался Суслик: сто рублей деньги все же не малые. Сапоги купил себе, гармошку, пожил хорошо в Саратове, пора и возвращаться в балку за новой пригоршней — жид обещал дать за вторую сотню уже двести рублей. Доехал до Новоузенска, оттуда с оказией добрался до Эльтона. Добрался — да поздно: не найти балочки! Осень была тогда, ливни

хлынули, вместо балочки, которую запомнил Суслик, целая пропасть! «Быть не может», — думает он, — «должно, я балкой опознался». Искал, ходил, а балок-то не мало и каждую весну они меняются, грунт мягкий. Год проискал, другой — толку нет. С горя, что кубышку потерял, с ума и свихнулся. Заговаривается, на деньги осерчал, вроде как святой какой. Оно и есть от чего: больше пяти тысяч золотых... не шутка!

— Удивительно, только невероятно.

— Не вы одни так говорите. А раньше все верили, что кубышка есть, да только Суслик отыскать ее не может и не говорит, в какой балке спрятал. Один раз киргизы поймали его, пятки полдня на костре ему жгли: «Скажи, да скажи, куда заховал!» Крепкий был чорт — не выдал! Другой раз какие-то степняки воду соленую ему в горло лили, аж распух весь, да — зря: не сказал, а сам потом отдышался. Ну, а теперь все думают, как и вы, — сбрехал тогда, дескать, Суслик, побахвалился по пьяному делу. Один Ржаной не сдается, умасливает старика лет десять, надеется, что тот перед смертью ему откроется... А пока что сам шарит по степи, да по балкам, не отстает.

— А вы?.. Верите этой сказке?

— Не верил бы, время бы не терял. А верю потому, что знаю. Откуда?.. Жида-то, что монеты дешево когда-то у Суслика купил, я с мальства еще знаю, а с его подручными работать доводилось вместе. Дело старое, десятилетняя давность вышла — ответа больше нет. Он мне и рассказал, как его хозяин враз раз-

богател, — монетам-то цены не было... Эй ты, выдра!

Хассимов хлестнул коня нагайкой, как бы жалея, что слишком много сказал, и поскакал вперед.

— Эй, Хассимов, — догнал его Зорин, все еще не в состоянии освоиться с повадкой киргизского полуголодного коня пригинать на ходу голову, — а если Суслик и в самом деле помешался?

— Он-то? Хитрит, чорт вшивый! Насквозь его вижу. Самому-то ему кубышка теперь ни к чему: стар, без зубов, да и куда он с ней денется? Враз узнают, как деньги появятся, отберут, в тюрьме и сгниет! Вот он, как собака на сене, сама не ест, другим не дает. А балку он должен знать, как свою ладонь.

— И Ржаному не говорит?

— Хитрит, говорю вам. Из-за кубышки он и живет у Ржаного, вроде как дед или отец. Стал бы тот держать его, вшивого, если бы не надеялся выпытать. А дед не дурак, обещал, гляди, что на духу откроется, и не говорит раньше, чтобы самому в степи голым не остаться.

— А вы?.. Тоже подъезжали?

— Разве его этим возьмешь? Думает, что я поверю его брехне, дурака корчит, — да я свое дело знаю.

— Вы же за кладом Мамая гонитесь?

— Там от солнца зависишь, ждать долго. А здесь — от вшивого деда и от себя самого.

— Обманываетесь вы, кажется, — да это ваше дело! А что вы думаете про родственницу Ржаного?

— Баба - бой, жаль что худая. Ха-ха!.. Большому куску, как говорится, душа радуется.

— Как вам не стыдно, Хассимов! Я не про то! Видели, какие у нее глаза: огромные, бархатные. Глубокие, преглубокие... Взглянет, что рублем подарит. А цвет лица?.. Несмотря на зной и жару — белый, пребелый...

— Цвет лица?.. Нашли, чем удивить! Мажется, как все женщины на Волге. Видели вы там загоревших крестьянок или хуторянок?.. И не увидите. Так и эта. Со времен монголов, а то и раньше, они здесь моду такую завели... Что делают? Замазку устраивают из необожженой извести, я думаю, — подбавляют туда гусиного жира или сала. Ее кладут себе летом на лицо, на руки, на шею чуть не каждую неделю. Эта мазь и съедает загар, даже веснушки, вернее — сжигает наружный, опаленный солнцем, слой кожи. Смоют мазь — кожа, как у новорожденной... Понятно, несколько дней на солнце потом и не показывайся! Оттого на Волге вы все лето и не увидите бабенку помоложе или девушку без платка, надвинутого далеко вперед. Так вот и эта.

— Неисправимый вы прозаик!

— А что до глаз ее, то не они вас рублем подарят, как вы говорите, а не к кубышке ли деда она подбирается? Ржаному одному не переупрямить деда, так он родственницу на подмогу себе выписал, — на кривой объехать хочет!

— Вы все про свое!.. Чистую, красивую, барышню заподазриваете в гнусностях.

— Деньги, Василь Васильич, черви, да люди без них — черти! На что только человек не пойдет, лишь бы нажиться поскорее да полегче.

— Клад Мамая, например, отыскать! — обиделся студент за родственницу Ржаного и хлестнул коня.

— И это правильно! — услышал он спокойный голос отставшего татарина.

Почуял ли станцию конь студента, или плетка подействовала — он затрусил мелкой рысцой. На темном фоне степи скоро стал вырисовываться вдали новенький светлый сруб пассажирского здания. И вдруг, в глубине степи, по другую сторону Смарагды, Зорину почудилось второе светлое пятно, которое быстро приближалось, становилось яснее. Легкое летнее платьице монашеского покроя, белая широкая косынка, красивые зеленые сапожки с заостренными вверх носками замерещились перед глазами... Девушка, как живая, стояла перед ним, стройная, красивая, перетянутая широким кожаным ремнем, который подчеркивал тонкость ее стана. Припомнился тотчас и ее странный, мелодичный голос, тихий, протяжный, как бы поющий. «Как хороша», подумал Зорин, «жаль, что уезжает скоро. Познакомиться бы ближе, поговорить...»

Еще далеко в степи, задолго до станции, заслышался молодой мужской голос, донеслись скоро и звуки аккомпанимента на гитаре. То пел телеграфист Миша, молодой паренек, самоучка.

— «Дышала ночь восторгом сладострастья», — летел в степь и замирал в беспредельном просторе ба-

ритон бархатного тембра, стараясь уловить нюансы нового в то время романса, посвященного Вяльцевой, гремевшей на всю Россию.

Зорин остановился, заслушался, — слова и музыка так подходили к тому, что он чувствовал, чувствовал так внезапно, так неожиданно, случайно...

— Василь Васильич! — татарин догнал его: — Знаете, кто она?.. Я-то догадался. Кто?.. Да барышня эта! Нет?.. Богородица хлыстовская. Вот кто! Не верите?.. Верно вам говорю. У меня нюх тонкий. Да я про нее давно слышал, она у них, как святая... Вот так штука! Значит, и Ржаной — хлыст.

XIV

Одним из первых, посторонних для постройки дороги, приехал на Эльтон торговец Белой, родом откуда-то из под Саратова. Облюбовал он себе место в степи за полосой отчуждения около будущей станции Эльтон и стал обстраиваться; поставил киргизскую юрту, шалаш, в котором поместился сам среди запаса товара, сколотил на скорую руку и досчатый барак с большой вывеской: «Колониальные Товары Белого».

Фамилию эту дали его предкам, очевидно — в насмешку: матовый цвет кожи и темная густая шерсть на теле Белого никак не отвечали этому имени, почему уже через несколько дней русские на Эльтоне звали его не иначе, как «Жук», а хуторяне и киргизы — «Тарантул». Небольшого роста, плотный, коренастый, он без устали работал, страдая от жары, почему и носил неизменно одежду только упрощенного типа: широкие штаны малороссийского покроя, фартук с большими карманами и киргизские туфли на босу ногу. Руки, плечи, спина и часть груди Белого были голы, с копнами темной шерсти даже там, где обычно им расти не полагается. За темный цвет кожи русские и прозвали его Жуком; хуторяне же дали ему прозвище «Тарантул» за его характер. Как опасный паук, он засел в своей берлоге, распустил тенета во все стороны и зорко сторожил.

Закинул он свои сети и далеко в степь, заподрядив ничем не занятых киргизов, которые и славословили его товары на сотни верст вокруг озера. С неаккуратными плательщиками он был беспощаден, быстро научился объясняться по киргизски, давал деньги в рост по три, по пять процентов в месяц, продавал залежалый товар, брал в уплату по низкой цене шерсть, кожи, скот....

Дела его разворачивались с каждым днем. Он не переставал уширять магазин, пристроил к нему склад, скотный двор. Появился у него даже сложенный из сырца в полкирпича трактир или пивное заведение, где русские, киргизы, хуторяне встречались, совершали сделки, выпивали, кто чай, кто водку, кто одеколон.

Прислуживала там какая-то разбитная бабенка с Волги и молоденькая киргизка со светлыми волосами, смазливая, посмотреть на которую приезжали даже издалека... Говорили, что Тарантул заарендовал ее на время, что встречалось в степи тогда нередко: киргизы, азартные по натуре, проигрывались или пропивались иногда так, что отдавали в наем жен, дочерей...

До восхода солнца Белой был уже на ногах, до поздней ночи не переставал отпускать товары, распоряжаться, покрикивать. Летом он страдал от жары, обливался потом и то и дело бегал в сарай, чтобы окатиться там водой, негодной для питья, из бочки, на подобие душа и, мокрый, соленый, вновь спешил в магазин — считать выручку, торговаться, браниться с киргизами, с пастухами из-за курдючных

баранов, лошадей, керосина... От деятельности Жука была и польза для станции Эльтона, был и крупный вред от беззастенчивой эксплуатации им жителей степи, примитивных киргизов, не понимавших новых, с проведением железной дороги, условий жизни, цен.

Зорин не был сторонником этого первого коммерсанта Эльтона, но Управление в Саратове настаивало на развитии частной инициативы и на привлечении капиталов со стороны. Жуку предложено было, поэтому, даже бесплатное место на самой станции для его коммерческого предприятия уже на постоянных началах. Жук однако выжидал, колебался, хотел посмотреть сперва, выйдет ли что из Эльтона, какую роль сыграет этот пункт в жизни степи.

Клиентом Жука был и Ржаной, которого не раз Зорин видел в лавке, но не знал, кто он и чем занимается.

Встретился он с ним и еще раз, через несколько дней после поездки на Джаныбек, и не с ним одним, а и с его красивой, загадочной родственницей. Как ни старался Зорин забыть об ее существовании, молодость брала свое: бледное личико, белая косынка, зеленые сапожки с сафьяновой отделкой не стушевывались в памяти — лишь глубже врезались.

Проходя по работам, несколько дней спустя после поездки на хутор молоканина, он вдруг и завидел ее у строящегося здания вокзала. «Да ведь она уехала!» — не верилось глазам.

Та медленно прогуливалась, глядя по привычке

вниз, кого-то поджидая, возможно, из магазина Жука. Зорин просиял, любуясь издали знакомой ему фигуркой, легкой походкой, покроем платья.... На этот раз она была вся в белом: гладкая юбка строгого покроя, английская блузочка, белые туфли и косынка того-же цвета, накрахмаленная, блестящая.

— Ирина Алексеевна, — подлетел он к ней, — не уехали? Как я рад! За покупками, или посмотреть на нашу работу?

— Я со Ржаным, смотрю, пока он занят в лавке, — голос грудной, мелодичный, взгляд приветливый, пожатие руки нежное.

— Не хотите ли посмотреть поближе? Вот это — здание вокзала. В нижнем этаже — зал, контора станции, телеграф, а во втором — квартиры начальника, помощника, телеграфиста... Хотите подняться? Только здесь грязновато... Тут — жилые дома для служащих, — мы строим сразу восемь... А там, ближе к Смарагде — водоемное здание, около него — депо.

— Что такое?

— Депо для паровозов. Они будут отдыхать там, промывать котлы, ремонтироваться.

— Разве паровозы должны отдыхать?.. Они живые? устают?..

Карие глаза ее улыбаются... Всерьез она?.. Насмехается?

— Иначе нельзя. Зимой будем даже отапливать, чтобы вода не замерзла!

— Да? — тот же взгляд из-под густых опущенных ресниц.

Неожиданно, как бы нарочно, рявкнул гудок, Ирина Алексеевна поспешно закрыла уши руками. Клуб пара вился к небу в двадцати шагах от них, — там стоял паровоз, скрытый постройкой.

— Василий Васильевич! — кричал оттуда машинист Костик, — не хотите ли прокатиться? Баластный поезд еще не готов, а у меня ноги застоялись... Пожал-те, коляска подана! — кланялся и размахивал кепкой Костик, хороший и толковый малый в трезвом виде, грубиян и забулдыга под пьяную руку: — Пожал-те с дамой! Окажите честь! За одно и линию посмотрите.

— Не желаете ли проехаться на паровозе?.. Дамам не разрешается, для вас же все можно! — Зорин не знал, чем заинтересовать ее, лишь бы любоваться ею, видеть ее!

Не отвечая, та пошла к насыпи, где стоял, улыбаясь, молодой машинист, в светлой на выпуск рубашке, вышитой красным узором.

— Пожал-те сюда! — он вытирал «концами» поручни паровоза.

— Грязновато у нас, — извинялся Костик, — от масла, да от пыли с нефтью... Да не бойтесь; будет чисто! — он сорвал с себя вышитую новехонькую рубашку и вытирал ею поспешно масло и копоть. — Пожал-те, здесь будет удобнее!

Как горная козочка, Ирина Алексеевна вскочила по металлическим ступенькам на платформу высокого паровоза, придерживаясь за поручень. Юбка была узкая, подножка — высокая; Зорин покраснел,

увидев голые выше колен ноги, точеные, мускулистые, как у скаковой лошадки.

— Сюда, пожал-ста! — полуголый Костик указал пассажирке место на железном откидном фартуке между паровозом и тендером, где было почище: — Куда прикажете, Василий Васильевич? К Смарагде?

Не ожидая ответа, он дал гудком сигнал, — Ирина Алексеевна вздрогнула, не успела прикрыть уши. Пар вырвался из машины, паровоз зашипел, тронулся с места и начал ускорять ход, постукивая на стыках бандажами. На выходной стрелке он сильно качнулся, еле успел Зорин поддержать спутницу.

— Мерси! — она схватилась за борт паровоза.

— Осторожней, Костик! — крикнул Зорин, в руке же своей он еще чувствовал гибкое, нежное тело, лишь прикрытое легкой тканью. Холостой паровоз, без поезда, скользил по рельсам, с каждой секундой увеличивая скорость. — В Смарагду не угодите!

Радостно оскалив зубы, одной рукой на регуляторе, Костик смотрел вперед, не отвечал. — Эх, жаль, что путь разрушен! — вздохнул он: снесенный весенней водой мост через Смарагду не позволил ему показать свою удаль.

— Стойте же, Костик! — не выдержал Зорин: паровоз подлетал к провалу, где виднелись вновь забитые сваи. — Упор там слабый! Ухнете в реку!

Лишь в последний момент отчаянный парень ухарски захлопнул регулятор, дал задний ход. Па-

ровоз как бы осел на рельсах, бандажи скользнули, и в каком-нибудь метре от провала остановился, — еле устояли на ногах пассажиры.

— Эх, вы, беспутный! — Зорин, довольный, грозил машинисту.

— В такой компании и в ад не страшно! Ха-ха-ха!

Теперь и пассажирка поняла опасность, оценила удальство, ловкость машиниста; она улыбалась Костику, ласково глядела на Зорина, личико ее порозовело, — молодость, здоровье, солнце брали свое.

— На линию! — Костик дал пар, паровоз покатил обратно, тендером вперед. Проскочили входную стрелку, длинную станционную площадку, ряд маневровых путей и полным ходом вылетели на главную линию. Кулисы паровоза защелкали, дышла застучали — он понесся полной скоростью. С низкого, незащищенного тендера видна была вся линия насыпи, рельсовый путь; скорость возрастала, встречный ветер становился сильнее. На одном мостике паровоз подпрыгнул, косынка сорвалась с головы пассажирки — копна каштановых волос ее рассыпалась по плечам, растрепалась. Вихри ветра играли кудрями, хватали их, перебирали, как бы хотели умчать с собой.

Не мог Зорин оторвать от нее глаз. Как борзая, в минуту горячей погони, как породистая скаковая лошадь на полном ходу, она жадно подставляла лицо, грудь, всю себя под мощные струи ветра, раскрывала глаза, губы. Что-то незнакомое, хищное, но заманчивое чудилось в них. Воздух прижимал легкую

ткань к ее телу, обнимал, обрисовывал контуры: небольшая, крепкая грудь, плоский живот, красивые бедра, длинные, мускулистые ноги...

Радовался и полуголый Костик. Он смотрел на линию, на манометр, на красивую пассажирку, зачарованную, плененную этой бешеной, незнакомой ей скоростью. Косынка ее трепетала, старалась оторваться, улететь, развеянные ветром кудри бились во все стороны. Сама она в неудержимом порыве стремилась куда-то вдаль, как бы желая отделиться от земли. Она не сводила глаз с бесконечной степи, забыла о паровозе, о спутниках. Вот-вот она оттолкнется и понесется по воздуху, оставив все и всех позади себя... Глаза широко раскрыты, грудь дышит быстро, легко, как будто собирает силы для мощного прыжка...

— Пора и назад, Костик! — проговорил, наконец, техник; машинист забыл о всех, о всем.

— До Красного бы Кута так! А там — будь что будет! — вздохнул тот, убавляя пар.

— Обратно на станцию? — обратился Зорин к пассажирке, которая, как бы придя в себя, удивленно глядела на паровоз, на спутников...

— Ирина Алексеевна, вы не замужем? — Зорин провожал ее к лавке Тарантула.

— Нет! И не собираюсь.

— Отлично делаете! Успеете еще насладиться семейным счастьем... А пока будем жить, работать, веселиться! Приезжайте к нам почаще.

— Не могу... Я завтра уезжаю; вероятно, до будущего лета.

— Как так?.. А я думал, мы будем встречаться. Будущим летом, я и не знаю, вернусь ли сюда.

— Да?.. Вы бросите Эльтон? А вы хотели бы меня видеть?

— Помилуйте! Как можно спрашивать? Я искал вас на становище... Только о вас и думал.., — он конфузился, покраснел.

Она остановилась, разгребала песок туфелькой.

— Слушайте, если хотите повидаться еще, приезжайте на хутор Абрамова, — проговорила она тихо.

— Абрамова?.. Отлично. Но когда? В какое время?

— На Спасов день... В одиннадцать вечера...

— В одиннадцать? Почти ночью?

— Вас удивляет? Не хотите, не приезжайте.

— Обязательно буду!

Та подняла голову, посмотрела лучистыми глазами, посмотрела пристально, загадочно и, не говоря ни слова, крепко пожала ему руку.

Бричка Ржаного стояла у лавки, — хуторянин, видимо, уже давно поджидал родственницу. Та вскочила на сиденье, Ржаной хлопнул кнутом, бричка покатила крупной рысью. В клубах степной пыли девушка послала Зорину приветствие рукой и, повернувшись, мило ему улыбнулась. Сам не свой от радости, он восторженно замахал фуражкой, а каменщики, гасившие недалеко известь, смотрели на него и, покачивая головами, улыбались.

XV

Ни работа, ни хлопоты по постройке не могли уже вытеснить из головы Зорина образ родственницы Ржаного.

Мерещилась она ему днем, хуже было ночью, когда. как наяву, ему чудился ее грудной, как бы поющий голос, когда под тонкой батистовой кофточкой, казалось, вновь просвечивала ее стройная фигурка... И как хотелось, чтобы она хоть раз еще появилась здесь, воочию, и чтобы порыв ветра обрисовал контуры ее грациозного стана с мускулистыми бедрами, стройными ногами...

«Влюбился?.. Увлекся, как мальчишка, как гимназист... увидев ее всего два раза?» Он возмущался собой, своей степной жизнью, проклинал и самое степь, где за год с лишним он не встретил ни одной женщины, достойной этого имени. «А дальше?.. Чего хочет она, эта странная, обаятельная девушка? И что означает это приглашение?.. Почему на хутор и в такой неурочный час?»

Он сердился на свою слабость, на свое согласие, сердился и на девушку... а еще больше — на долгий срок: до Спасова дня оставалась ведь целая вечность — почти две недели!

Через несколько дней Зорин не выдержал, ушел

один в степь, не предупредив никого, помимо своей воли, как бы гонимый инстинктом, и неожиданно очутился снова у становища Ржаного, после долгого блуждания по солончаку и по балкам.

Застал он там знакомую картину: киргизка стряпала что-то на огоньке костра, тут же возились детишки, и белая собака, на этот раз одна, яростно облаивала его хриплым лаем.

Завидя пришедшего, киргизка, как и в первую встречу, поспешила скрыться с детьми в юрту, откуда вышел, заплетаясь, Вшивый Дед в том же драном халате и отогнал собаку.

— До нас, голубок, добрался? — ласково обратился он к пришедшему: — Присаживайся, гостем будешь... Только Ржаного нет сейчас. В степу он, с барашками мытарится, на днях купать будем... Со мной посидишь, что-ли? Кумыску выпьешь?

— С удовольствием! — Зорин подсел к старику на голую землю, забыв о кошме и о тарантулах. — Устал, пить хочется, уж очень печет сегодня!

Дед, ковыляя, принес бутыль из юрты, налил кумыса в деревянную, когда-то выкрашенную чашку. Кумыс был теплый, кислый.

— Ирина Алексеевна, дедушка, дома?

— Кто такой? — бесцветными глазами дед смотрел исподлобья, насупив брови; лицо его, коричневое от солей и от солнца, с глубокими морщинами во всех направлениях, напоминало полуистлевший пергамент.

— Родственница Ржаного, которую я видел здесь

в прошлый раз. Она уехала, или еще в становище?

— Уехала, уехала, — тон отрывистый, резкий: — К нам ты, или в степу что ищешь?

— Я завернул так, случайно... С окрестностями знакомлюсь, с почвой: вот и забрел по той, вон, балке. Вода нам нужна, камень для постройки требуется, а их здесь нет, как нет! Воду мы пьем полусоленую, камень с Волги на верблюдах возим... А куда уехала Ирина Алексеевна?

Дед помолчал, уставившись на огонек, потом заговорил, качая головой:

— Как Господь захотел, так и сотворил, одному чернозем, другому камень, а кому и на песочке хорошо. Так-то!.. А что до воды, — дед оживился, — то я видел, как твой татарин по балкам шугает. Как пес лягавый! А чего ищет?

— Воду Хассимов ищет. Народ прибывает с каждым днем, вода всем нужна, да такая, чтобы животы не болели.

— Ваше дело... Вам виднее... А для нас, слава Те Господи, хватает, — дед успокоился, стал смотреть на костер, но снова оживился: — А зачем твой татар не на дне балок копает, а по краям их шарит да по степу?.. Там воду найти собирается?

— Не знаю. А воду он достает. Без него нам бы зарез.

— То-то, зарез... А со стороны сдается, не одну воду ищет свиное ухо!

Не чувствуя жара, старик перебирал заскорузлыми пальцами тлеющие куски кизяка, сдувая с них пепел.

— Что ж другое он может искать? Клады что-ли? Разве есть они здесь, в степи-то?

Старик, казалось, не слышал. Костлявой рукой, обтянутой лишь кожей, он ковырял в костре, укладывая недогоревшие куски, раздувая огонек старческими легкими.

— Да как могли они попасть сюда? — Зорин подвинулся к старику поближе, боясь, что тот не слышит. — А если и были какие, их давно выкопали. На них не мало охотников... Вот и про вас говорят, про кубышку. Будто вы нашли, да потеряли. А в ней, будто бы — золото!

— И до тебя дошло, — пробурчал старик, не оставляя костра: — Язык без костей что хвост бараний. А клады... почему им и не быть, кладам-то?

Он замолчал, задумался. Морщинистые глаза затем прояснились: — Клады, клады, — медленно говорил он, качая головой, — что в них? что хорошего то?.. В чужом добру?.. Золото, говоришь?.. На что оно? что даст-то? молодости прибавит, здоровья?.. счастья?.. Зависть даст только да злобу людскую! Люди, вишь ты, — как волки лютые, один у другого изо рта вырывает. Набросятся — клоками шерсть полетит. Вот оно, золото-то, да клады.

— Значит, клады здесь есть?

— Клады, касатик, всюду есть... Господь Бог сколько рассыпал их, в землю положил, умей только видеть. Да заговорены они все, клады-то. Не всякому дадено подобрать!.. Какие от Господа — Он на них зарок положил: увидит их тот, кому назначе-

но... А кому нет — что у пустопорожнего места стоять будет!.. А какие клады от нечистой силы, та тожь охулки на руку не положила!

— Не понимаю, дед, про какие клады вы говорите?

— Вокруг нас которые... Молодость, здоровье, солнышко... жизнь сама... Вот они, клады-то Господни! Да ценить их мы научаемся, когда поздно. Воздух хороший, степной... свобода... букашки ползают... травка, ковыль растет... Эвона, сколько кладов-то! Да для них всех глаза нужны... Так-то!

— Может, вы, дед, и правы, да я не про них. У всех тут клады монгольские в голове, а не Господни. Зарывали, по вашему, монголы золото, драгоценности, камни? Находил кто-нибудь такие клады? Говорят, вот, про Пшеничного, который враз разбогател. И про вас, — только вы, кажись, маху дали. Находку спрятали, а найти потом не смогли!

— На то у них и языки мотаются, у людей-то!.. А я ничего такого не знаю, — старик отвернулся, уставился вдаль.

— И вам не случалось копать? другим помогать? или глядеть, как люди копают? Я здесь не так давно, а и то видел, как разрывали курган Джаныбека. А вы тут больше полсотни лет, кажись? А? Расскажите, дедушка! Мне так хочется знать, что есть в этой степи.

— Плохой я рассказчик... В голове у меня все перепуталось от старости... Ум за разум зашел.

— Ну, скажем: в молодости, — вам не приходи-

лось участвовать в раскопках? копать или помогать другим?

Забыв о болезни деда, Зорин положил ему руку на плечо.

— Помогать?.. Помогать доводилось. Да толку вышло мало... Людей поугробили, друг друга чуть не перебили.. Вона куда клады монгольские ведут!

— Как так? Расскажите!

— Старое оно дело... Молод я тогда был, за сусликами ходить начинал. А степь знал, — куда итти, как до воды словчиться. По ветру, как собака, за много верст юрту чуял да становище... Как-то на Волге и сговорили меня казаки — с Дона они были — в степь с ними итти. А чего такого задумали — не сказали... По рукам ударили, пошли к Эльтону... У них с собой — возы, жены, инструмент всякий да две бочки вина донского. На Эльтон пришли, донцы и вытащили грамату: из-за нее они и приехали... Грамата как грамата, старая только... да их много тут по рукам ходило... Долго искали они место... и от озера мерили, и по солнцу смотрели, по грамате... «Здесь!», — говорит один из них, грек или армянин, черный такой: у них он был как за набольшого. Рыли они, голубок ты мой, копали, как звери, с утра до ночи, ни отдыха тебе, ни передышки... Кто ки́рками, кто лопатами. Другие землю да камень вверху шайками выбирали, ведрами...

— Как так, дед, камень?.. Разве камень шел, а не песок и глина?

— Камень! Да во какой! Голыми руками его не возьмешь! Ломом — и то зубы обломаешь.

— И ты, дед, копал? спускался в яму?

— Как не помочь?.. Ребята потные, как в бане, — ну, и я слезал. На помочь запрета нету.

— Понятно, нету. И ты сам ломал камень? глубоко?

— Не во сне говорю... Бугор целый насыпали, — гляди, занесло его теперь. А глубина? Кто ее знает, — по нашему, знаешь: «Мерил Федор да Борис, а веревка — оборвись. Федор говорит — давай свяжем, а Борис — и так скажем».

— А потом?

— Потом?.. Нехорошее вышло, то-то и оно-то! За чужим погонишься — свое потеряешь. Так и с казаками... Дерева, ты сам знаешь, здесь — ни соломинки! Крепить яму, а крепить нечем! Думали, бока каменные, сами держаться будут, а они, держись, держись — да как ухнут! Трех казаков, что внизу были, и прихватило!.. Бабы их — на все толоса; мы откапываем; другие ругаются... А работа — хоть начинай сначала!.. Два дня пробились: все зря, без дерева-то. Киргизы говорят — заговоренный клад-то! Он заговорен, а заговора снять некому: чего-ж тут мытариться? Хоронить товарищей надо, а они и так похоронены, крепче и не надо. Грека, что дерева не взял, чуть до смерти не забили! Из благородных он был, ученый какой-то. Винище повылакали казаки, передрались с горя, становище поснимали и айда за Волгу, от греха подальше!.. Так-то, сударик. Мо-

лод и ты на клады монгольские зариться. Пусть уж Ржаной да твой татарин по ним печалятся... Кругом себя лучше посмотри, на благодать Божью порадуйся. Вишь, муравей-работничек старается, соломинку вон какую тащит! Раз в пять больше себя... А там вон ящерица милая на солнышко глядится, ротик открыла... Вот тебе клады какие! Благотворение воздухов, жизнь сама! Глаза пошире раскрой, все и увидишь... Чего под землею смотреть-то?.. Все вы такие!..

Голос деда переменился, стал вдруг неприятен. Бормоча, старик не сводил глаз с костра.

— Места, дед, ты не помнишь? Не можешь показать его?

— Какой я показчик? Где мне помнить?.. И сил моих нету... Я от становища — ни на десять шагов. В первой балке и рассыплюсь... Поищи уж сам, коль приспичило.

Так и не выжал Зорин из Вшивого Деда больше ни слова, ничего не узнал он и про родственницу Ржаного, — старик как бы не слышал! От повозки он отказался, ни на какие уговоры не поддался. Обиделся даже, когда Зорин упомянул про плату.

— Деньги?.. Смотреть на них не хочу. И ты не больно ярись на них. Найдешь — не попользуешься! Так-то, сударик... Клады, говорю, заговоренные. Чужое оно добро, не для тебя положено!

С трудом он поднялся, чтобы проводить гостя хоть немного от становища. Солнце садилось, южные сумерки спускались на раскаленную бесконечную

степь. Испарения соли чувствовались сильнее, дышалось легче, аромат горькой полыни проносился в воздухе, — ее лепестки раскрывались. Зорин быстро шагал по степи, не разбирая кочек, нор сусликов. Рассказ же Вшивого Деда не выходил из головы. Удивляла его не философия полусумасшедшего старика, не то, что приезжали в степь искать клад Мамая, а то, что рыли в камне, что где-то в степи была яма с каменными боками. Как это могло быть, когда изыскательская партия и он сам нигде не нашли ни камешка?.. И этот камень, будто бы, здесь, недалеко от Эльтона! Ведь все было осмотрено, и он сам обшарил каждую складку земли, все окрестные балки. Бурили, шурфовали. Не путает ли дед? Не свихнулся ли он от старости?.. И куда уехала Ирина?

Вдали в темноте завиднелись, наконец, срубы казарм для ремонтных рабочих, небольшой деревянный вокзал, выведенный до кровли, и фундамент водоемного здания для будущего пруда, надежды Эльтона.

XVI

— Набрехал вам Вшивый Дед, а вы и поверили! — укорял Зорина татарин неделю спустя, шагая с рабочими к озеру под палящим солнцем; он держал подмышкой футляр от гониометра и опирался на штангу, как архиерей на посох: — Сами посудите, какие тут камни? Откуда?.. Нашелся один одинехонький карьер для балласта, и то песок неважный, мелковатый и без гальки. И про камень дед врет, и про кубышку брешет. Знаю я верно: нашел он ее и спрятал. И помнит, хрен, куда закопал, да не говорит, хоть ты тресни!

Хассимов утирал пот грязной тряпкой, она служила ему носовым платком и закорявила от пропитавшей ее соли. Солнце палило нещадно, итти по степи без тропы было трудно, степная растительность понежнее давно завяла, оставались лишь колючки, да редкая полынь сжавшаяся от засухи. Выдерживал только песок да солончак, и то их обитатели укрылись от пекла, позапрятались по норкам...

— Тут начнете нивеллировку?.. Ставь треногу, хлопцы! Давай ящик! А ты, братец, ступай с рейкой, да качай ее проворнее! — распоряжался татарин, когда Зорин принялся за установку нивеллира, чтобы разбить железнодорожную ветку от главного пути. Управление решило насыпать в озере отстойные площади и соединить их рельсовым путем с недавно

уложенной линией. Площади эти были необходимы, чтобы складывать на них соль, дать ей вылежаться. Соль озера Эльтона, хотя и замечательного качества, не годится для немедленного употребления в пищу из-за магнезии и других примесей. Чтобы избавиться от них, добытая соль должна пролежать много месяцев на воздухе, под действием которого вредные примеси улетучиваются и соль становится «повареной».

Работа по разбивке ветки была привычная, спорая. Рабочие весело переставляли вешки, таскали нивеллир со штативом, забивали колышки, гонялись по пути за тарантулами, убивали змей. Когда вошли в самое озеро, пройдя его грязевое кольцо, стало еще забавнее. Ветерок с запада согнал «рапу» к восточному берегу, уровень воды повысился так, что, пройдя по соли километр, другой, можно было дойти до глубины в метр и больше. Работали босиком, чтобы соль не испортила обуви, сняли затем и штаны, подвернув рубахи на грудь, на шею. Почему бы и не выкупаться?.. Двое, трое помоложе оказались сейчас же в чем мать родила. Изумлению рабочих в потехах не было конца: погрузиться в эту воду невозможно! Насыщенный до предела соленый раствор выдавливал тело, как вода пробку. Утопиться в Эльтоне нельзя, если бы кому и захотелось: ляжешь на воду, погружаешься лишь наполовину, и того меньше. Рабочий Самохин уселся на лежавшего на спине в воде молодого парня — тот не тонул даже от тяжести двоих. Брызгались, бросали тяжелую рапу

друг в друга, ее капли — как пули! Нет в озере ни водорослей, ни рыб, ничего живого. Плавают лишь кристаллы магнезия, калия, голубоватые, розоватые, все ромбовидные, и количество их в рапе все увеличивается по мере испарения воды.

Смех и забавы, однако, скоро прекратились, так зачесалась кожа! Пришлось спасаться на берег, вытираться чем попало: рапа разъедала тело. Веселость же однако не пропала, со смехом и шутками вновь принялись за нивеллировку.

— Киргиз какой-то! — вглядывался в степь Хассимов: — Не к нам ли?

Он подождал трусившего быстрой иноходью монгола на небольшом мохнатом коньке, заговорил с ним по киргизски:

— Ржаной вас к себе просит, — обратился татарин к студенту, — Вшивый Дед помер, надо свидетельство. Хоронить без него опасается.

— Урядника пусть позовет. Я не могу давать свительства... А что с дедом? Он ведь был здоров, ни на что не жаловался?

Отмалчивается киргиз... — Не из-за кубышки ли? — проговорил Хассимов: — Ждал, ждал Ржаной да, гляди, и надоело... Не прикокнул ли он деда под горячую руку?

Киргиз, ожидая ответа, улыбался; глаза его щелочками из под меховой остроконечной шапки, казалось, подсмеивались, скуластое лицо его становилось еще шире, обожженная, обветренная кожа блестела, как лакированная.

— Так и передай Ржаному! — закончил уже по русски Хассимов и отпустил киргиза. За урядником ехать тот не захотел: все равно де не приедет, закопают и так, по молокански...

Разбивка ветки закончена была далеко до вечера, отметки взяты, данные для профиля и для подсчета количества работ определены; на станцию же возвращались молча, новость о кончине деда всех удивила.

— Открылся ли он Ржаному или нет? — неожиданно прервал молчание татарин.

— Как вам не стыдно, Хассимов? Человек скончался, а вы все про свое, про кубышку.

— Ему-то все равно! Ему давно была пора умирать, по нем черти на том свете соскучились. А вот, если Ржаной выпытал у него и достанет? — со всей силы татарин ударил вешкой по большой змее, разрубил ее на-двое.

— Не проехать ли нам, Хассимов, к Ржаному, почтить память покойного? Времени у нас хватит. Как думаете?

— Возьмем коней и смахаем. Поразведаем... А что, если дед не выдержал?

Зорин махнул рукой и зашагал быстрее, но приостановился: — О кубышке вы помните, а Мамая вашего позабыли? На чужое заритесь?

— Не чужое, а вымороченное. Такое взять и не грех... Да что мне до греха, когда подняться мне надо! Не век же на Эльтоне сидеть, а семья — по чужим людям. Я душу чорту заложу, а вы — про Мамая...

Да, кстати, загвоздка у меня с тем, с кладом-то. Придется, гляди, в Саратов ехать, с людьми там поговорить. Сколько раз я восход солнца караулил, а вижу, данные-то мои неполные! У персов или у арабов летоисчисление было по-другому, по луне они считали, а не по солнцу, на наш календарь никак не походит! И потом, ошибки у всех есть по солнцу-то. Ошибка эта, гляди, маленькая, а за пять веков — вон куда увести может! Не можете ли вы вычислить точно, если я вам день скажу?.. Его-то мы сумели перевести на русский календарь, да и то, гляди, маху дали.

— Не могу, Хассимов. Астрономию для этого надо знать, в справочники поглядеть, а их тут нет. А без них и Кузьмич не сумеет...

Подъезжая к становищу молоканина, они еще издали увидели море овец. Все, даже ребятишки, заняты были важной, необходимой для степи работой — купанием овец и баранов — и спешили закончить эту операцию до темноты. Сплошная овечья масса слегка двигалась, волновалась, незаметно приближаясь туда, где стоял Ржаной с несколькими киргизами и откуда слышались крики, гиканье, руготня.

В солончаке была вырыта яма, метра три на четыре площадью и метра два глубиной; ее дно и бока жирно смазаны глиной и высушены, чтобы сделать поверхность непроницаемой для воды. Соленый раствор из озера с подбавленным к нему для крепости бочонком никотина наполнял ее почти доверху. Из степи к этой яме вел коридор в виде воронки из камыша и

тросника, широким отверстием к степи. Овцы, бараны, подгоняемые киргизами, собаками, входили туда, как бы вливались; струя их суживалась так, что из узкого конца воронки могло выйти лишь одно животное. Как стадо Панурга, не понимая куда их несет, море баранов вливалось в воронку и, выходя из конца ее, животные падали, одно за другим, в яму. Два киргиза, по краям ее, схватывали крюками багров за шерсть утопавших овец и погружали еще каждую два-три раза с головой в ужасную, ядовитую жидкость.

Чтобы раствор успел проникнуть во все поры тела, они держали полузахлебывающуюся жертву под поверхностью несколько секунд, потом выбрасывали на другую сторону ямы. Выкупанная, ошеломленная овца то падала еле живая, то неслась, как сумасшедшая в степь, ничего не видя, не понимая, — никотин, соль ели ей глаза, ноздри, уши, умиравшие в ее коже клещи и вши старались вырвать свои головы из тела животного... Ягнята, овцы послабее, иногда не выдерживали этой ванны, издыхали тут же. Их поскорее прирезали — не дать же пропасть курдюку!

— Что же случилось с дедом? — обратился подъехавший Зорин к Ржаному около ужасной ямы: — Мы приехали отдать ему последний долг, хотели попрощаться с покойным.

— Мы его уже закопали. Ждать здесь нельзя, солнце вон как палит.

— Где же вы его похоронили?

— Вон там... Видите, бугор махонький?

Шагах в пятнадцати от становища, в балке, вид-

нелся небольшой недавно насыпанный холмик солончака, уже опаленный солнцем. Постояв около него со снятой фуражкой, Зорин сорвал несколько стебельков полыни и воткнул их в еще мягкую землю могилки.

— Отчего же дед скончался? — переспросил Зорин, возвращаясь к яме, где купание не прерывалось ни на минуту: — Ведь он, собственно, и болен не был.

Молоканин не отвечал, торопясь к яме.

— Ржаной! — не удержался татарин, — отвечай, когда начальство спрашивает. Что случилось с дедом? Укокошили, что ли?

Ржаной остановился у ямы, насупился в раздумии, смотря на темно-бурую жидкость, в которой судорожно бился крупный баран, изо всех сил пытаясь удержать голову на поверхности.

— Как вам сказать?.. И сам, и не сам... Слаб он был, понятно, стар очень, да и ребята пошутили маленько. Побаловались, стало быть.

— Как так побаловались?

— Да вот как оно было, господин начальник. Налили утром никотин в яму, чтобы овец купать, вшей да клещей выводить; ребята и говорят деду; «Старой, полезай первой! Сам убивать вшей не можешь, тебе вера не позволяет, так выкупайся! Греха на душу не возьмешь, а от вшей враз избавишься. Да и нам чище будет». Старик артачился, а они свое, да свое, смеются, балуются... И стали подталкивать его к яме. Свалился он туда, как был, в халате... Вот и вышла

беда: раствор ли крепок, или вши его так проели, — стал он как чурбан, вроде как бесчувственный, ни тебе рукой, ни ногой... Из ямы его вытащили, он душу Богу и отдал.

— И ни слова не сказал? — уставился на Ржаного Хассимов.

— Ты все про свое! — огрызнулся молоканин: — Человек жизни лишился, а тебе трын-трава!

— А ты о чем заботишься? о вшах деда, пожалуй? или о нем самом?.. Так он теперь или с чертями в свайку играет, или с угодниками чай пьет.

Молоканин ничего не отвечал, шагая к лошадям.

— Так свидетельства дать не можете? — переспросил он, когда практикант был уже в седле: — Нет?.. Ну, что же поделать!.. Помер и помер... Веры он был молоканской, я и прочел, что полагалось, а кто он, откуда — один Бог знает. Пожалуйте другой раз кумыску попить, скоро трава пойдет хорошая, кобылицы станут давать молоко первый сорт...

Солнце садилось, поднимался запах полыни, степь оживала. Соленая поверхность озера блестела розовыми и голубоватыми переливами.

— Ничего он ему не сказал! — торжествовал татарин, когда они отъехали от становища: — Лопни мои глаза, ничего! Ржаной ластился к нему, даром прокормил его лет пятнадцать, а шиш с маслом получил! — Хассимов огрел плеткой коня и поскакал, размахивая руками и ногами.

— Не болтайте ногами! — кричал ему Зорин вдо-

гонку: — Хорош кавалерист, а еще татарин... Или держитесь покрепче за землю, как полетите с седла!

— Что-ж я киргиз полосатый, что-ли? Тому монету подложи под колено — сто верст проскачет, она не выскочит. Лошадь задушить может коленями... А кубышка, что ни говорите, у меня теперь в кармане!

XVII

Не выходила из головы Зорина смерть Вшивого Деда, да не забывался и рассказ его о раскопках казаков и о камнях, которые задавили будто бы кое-кого из участников.

Деда ему было жаль, особенно из-за необычной смерти и жалкого погребения. Но деду давно была пора и умирать... А кубышка? Нашел ли он в самом деле когда-то клад и спрятал снова, побоявшись тюрьмы? Не одна ли то выдумка, легенда степных жителей? Развлечений в степях никаких, жизнь зимой и в распутицу там нудная, непроглядная; люди видятся друг с другом редко, расстояния огромные... Степняки поэтому молчаливы, как молчалива сама степь; каждый думает свою думу, особенно в периоды беспрестанных дождей, под завывание снежных бурь, под шелест пурги, под вой буранов. У всякого свои мысли, мечтания; степняки тешатся фантазиями, живут надеждами. В головах у многих — богатства, красавицы... Вот степи и наполнены баснями, небылицами о кладах. А что стали бы делать с ними эти примитивные люди? Получили бы наслаждение от воображаемых красавиц, от сказочных богатств, свалившихся на них, как с неба? И есть ли хоть доля правды в этих сказках? Видел ли кто хоть одно из зарытых сокровищ — кроме кое-какого оружия, кольчуг, убранства седел?..

«Чепуха!»— решал Зорин, «ничего дед не находил, ничего и не терял потом, а просто-напросто сам ловко подтверждал небылицу, чтобы Ржаной заботился о нем до смерти! А все таки... Рассказ Вшивого Деда о камнях... Как могли погибнуть казаки от обвала камней, где-то здесь, недалеко от Эльтона, когда тут на сотни верст кругом — ни камешка?.. Не станут же они сочинять небылиц о камне... Ведь это не ценность. Есть, значит, где-то в степи такое место, раз дед был там, сам видел, копал...»

Не давала Зорину покоя эта мысль, даже приближавшийся Спасов день по временам забывался, образ Ирины становился туманнее... Но где это место? И как изыскательская партия не заметила его? «А как я сам не нашел? Изъездил я все окрестности, исходил их вдоль и поперек, распросил всех и каждого, а не видел и признака камня!»

Правда, озеро Эльтон огромное: его периферия около ста верст длиной, следовательно — площадь земли вокруг него, на расстоянии даже двадцати верст от озера, больше трех с половиной тысяч квадратных верст... Неудивительно было и просмотреть, не заметить. Попадались там и ему небольшие холмики, возвышенности, да в них все было то же: солончак да песок, песок да глина.

Разговорился он, как то раз, в лавке Жука со стариком киргизом — тот пригнал на продажу баранов.

— Казаки рыли. Верно! — и киргиз подтвердил, что камень тогда обвалился, многих задавил, а кла-

да так и не нашли. По словам киргиза, место это было по пути к его становищу.

Когда Зорин подъезжал с киргизом к небольшому, незаметному издали холмику, он был уверен, что лишний раз убедится в выдумках, в болтовне степняков — но ошибся... Под верхним, наносным слоем показались кусочки щебня, битого камня, величиной в орех, другие — в руку. Камень! Сомнений быть не могло! Камень, который Зорин разыскивал чуть не целый год!

Набрал он кусочки необычной для Эльтона породы, отблагодарил киргиза, заприметил место...

— Туф! — просиял Кузьмич, рассматривая образчики в конторе: — Отличного качества... Но откуда? Порода известковая, результат работы морских молюсков... Видел я такой же в Одессе. Там можно резать туф ножом, пилить его, пока он еще в карьере; разработка поэтому легкая, и кладка, даже облицовка обходятся дешево. От кислорода воздуха известняк этот делается тверже, через некоторое время не разбить его и молотом. Хорошая порода. Жаль, что поздно нашли, почти вся каменная кладка у нас кончена...

По этой причине и Управление отказалось разрабатывать камень, залегание которого Зорин исследовал шурфовкой. Не хотелось Управлению поставить в ложное положение начальника изыскательной партии, видного в Петербурге инженера, из-за нерадения которого пришлось подвозить камень на верблюдах с Волги за сотни километров.

Зорин же был молод, упрям. Обидно было ему бросить найденный строительный матерьял, целое богатство... Он раздумывал, не принимая решения. К тому же подошел Спасов день, а с ним вновь замерещился образ Ирины, еще более пленительный...

Но не ехать же на свиданье на каких-то драных клячах, на ободранной степной повозке Жука! Уж если ехать, так ехать барином, начальником: «Поговорить со Степановной? Взять пару ее серых?.. Начнет допытываться: куда? зачем?.. Лучше — с Кузьмичем. Он же хозяин, он голова!» Зорин и обратился к своему начальнику, давно уже ставшему приятелем, с просьбой одолжить ему на вечер пару его лошадей с бричкой.

— Пожалуйста, — обрадовался тот, — когда хотите! Они в вашем распоряжении, много раз я говорил вам это... Гм... гм... Да! Надо все же предупредить Степановну, заботится о лошадях ведь она... Не беспокойтесь, я сам ей скажу. Она не должна, понятно, вмешиваться в наши дела, в дела постройки, а все же надо придать некоторую форму... Да... Скажем, например, что вы едете за верблюдами для работы на озере. Туда-то она не пойдет: тарантулов и змей боится... Вот и будет отлично.

В полдень, за столом, смотря пристально в свою тарелку, он и «распорядился»:

— Да, я забыл тебе сказать... Зорин возьмет сегодня наших лошадей. Прикажи Ефиму приготовить бричку. Нам нужны верблюды для озера... Кстати, и

коням полезно пробежаться, ты давно их не проезжала...

Облегчив душу, он стал быстро есть, ожидая, что скажет жена. Та, казалось, и не расслышала!

— Так ты, Степановна, не забудь предупредить Ефима! — Кузьмич не понимал еще, что тучи сгущались.

— Далеко поедете? — обратилась та к Зорину.

— Верст тридцать отсюда... В два конца, значит, шестьдесят.

— Куда? когда собираетесь?

— В окрестности Эльтона, — обрадовался Кузьмич: дело устраивалось просто, беспокойство было напрасно.

— Выеду вечером, когда жара спадет, чтобы не мучить коней, — успокоил Зорин хозяйку.

— Обратно когда?

— Придется позадержаться, пожалуй... Разговоры, то, другое.

— Сено и овес захватить, значит, надо? — все так же тихо, спокойно продолжала Степановна: — А воду?

— Вода там найдется...

— Откуда вы знаете, что вода там есть?

По тону ее Зорин понял ошибку — вопрос о паре серых не мог разрешиться так просто.

— Вода должна там быть... пьют же верблюды.

— Ждать вас или запирать двери?.. Мало ли что, воры могут забраться!

— Нет, я вернусь до ночи. Я...

— До ночи?.. Вечером выехать, шестьдесят верст — и к ночи вернуться! Три часа туда, три обратно, а лошадям есть, пить когда? Вы их загоните, покатите, как угорелый! Это по степи-то?.. Ноги коням переломать, бричку разбить...

— Да нет, Степановна! Вы не поняли. Успеют лошади и отдохнуть, а по сусликовым норкам поедем потише.

— Ночью? У Ефима-то глаза — совиные? А вода — соленая?.. Чтобы животы коням распучило?.. А лечить кто будет? Вы да Кузьмич?

— Никто твоих лошадей не испортит, — вступился тот за помощника, — дадут им отдохнуть, напоют, как следует. Чего ты хорохоришься? Кони зря стоят, а нам нужны срочно верблюды... для работы на озере. Вот Зорин и поедет их смотреть, приторговать.

— Ночью? верблюдов торговать? Да как же он их разглядит? С кем говорить будет?.. По ночам хотите работать, верблюдов присматривать? кобылиц, может, да на двух ногах?.. Хорошие люди спят по ночам. Одни бездельники по степям шляются.

— Это вы меня за бездельника считаете?

— Того, кто на кобылиц смотреть хочет. Да еще по ночам! Глазами не разглядеть, так щупать будете?

— Степановна, как можешь ты так говорить? Подумай!

— Молчи, Кузьмич! Ему вожжа под хвост попала, твоему помощнику, — к кобылам и захотел, да на наших лошадях... Опоит их там, ноги им переломает,

бричку изгадит... Катать на ней, гляди, какую собирается!

— Не надо мне ваших лошадей, — рассердился Зорин, — обойдусь и без них!

— Не надо? Куцехвостые, значит, сами за вами приедут? Застоялись! Ржут теперь, гляди! Жеребца зачуяли! Так поезжайте скорей и его прихватите, Кузьмича вашего. Два сапога — пара. Он всегда такой был — даром, что тихоня. Может, и водку у Жука вместе пьете, одеколон... На киргизку зеньки таращите... То-то Кузьмич верблюдом и пахнет! Так ты, Кузьмич, с киргизками?..

Тот укрылся в контору, в ожидании, когда гроза пройдет, а Зорин, послав за лошадьми Жука, пошел утешать своего начальника — головомойка-то досталась тому из-за него.

— Вот вам, Кузьмич, и жизнь семейная! «Лучше жены и не сыскать» — как вы мне говорили как-то.

— Поживите с мое, увидите... А чтобы развлечься, расскажу вам маленькую историю из деревенской жизни. Позвали раз старого священника к тяжелобольному.

— Умирать, говоришь, боязно... Все же на том свете будем.

— А коли в ад, батюшка? Что там-то?

— Что?.. Что?.. Да ты женатый?

— На второй, батюшка.

— Чего же ты боишься?.. Тебе уж в привычку.

Кузьмич уже улыбался, его нос пуговкой блестел.

— Счастье, дорогой мой, величина переменная и понятие относительное. Ни точного определения его нет, ни математической формулы... Так-то!

XVIII

Полуоободранная бричка Жука, с подвязанной веревкой дрожиной и парой разношерстных лошадей, поджидала вечером Зорина у конторы. Кузьмич хотел проводить его, чтобы дать ему, хотя бы для вида, указания на счет верблюдов, — надо же было сохранить лицо и успокоить Степановну, — да куда там!

— Ты тоже хочешь ехать? Или провожать вышел? — как фурия накинулась она на мужа, не стесняясь никого, как только Кузьмич подошел к повозке. — Не стой, говорю тебе, около поганой брички! Все будут знать, кто посылает его к кобылицам!

— Успокойся, Степановна! Нам верблюды нужны для озера...

— Ночью?.. Коты по крышам ночью бегают да кошки блудуют! И вы с ними?.. Пальцами на вас показывать будут, развратники вы эльтонские, а не начальство! Такой-то вы пример подаете?.. Чего ж ты ждешь, Кузьмич? Беги за своей киргизкой!

Долго еще слышался визгливый голос разбушевавшейся бабы, и Зорину было обидно, что по его вине Кузьмич попал в такую переделку.

Пожилой, щуплый калмык в меховой остроконечной шапке сидел на козлах. Его трубка с длинным чубуком — он не выпускал ее изо рта — заинтересовала техника. Самодельная — из двух кусков дерева

с выжженными в них отверстиями: в толстый кусок набивалась махорка, горение регулировала деревянная пробка с каналом, уменьшая или увеличивая приток воздуха. «Патент бы заявить на такую штуковину!» — подумал Зорин, и разговорился с калмыком. Тот знал по русски плохо, но понимал. Объяснения его удивили техника.

— Говоришь, хутор Абрамова знаешь, а дороги туда не знаешь?.. Ты был там? Нет?

— Хи-хи-хи! — смеялся калмык, посасывая трубку. Смеялся он всякий раз, когда к нему обращались, бронзовое лицо его морщилось тогда от смеха, раскосые глаза становились щелочками, крупные, как бы лошадиные зубы оскаливались и обнажали на них табачный нагар. Вместо усов, на его верхней губе природа насадила то здесь, то там что-то вроде пуков конского вороного хвоста, торчавших во все стороны. Пучки такой же щетины на подбородке росли прямо вниз, не глядя друг на друга, будто нарочно натыканные в кожу или забитые туда молотком.

Калмык, довольный, сосал трубку, поворачивая пробочку, чмокал на лошадей, хлопал их вожжами, подгонял кнутом.

— Не собьемся с тропы? — заботился Зорин.

— Хи-хи-хи! Не мозно!

— Темно становится, не заблудись!

— Хи-хи-хи! Летом не мозно заблудись.

— Как же ты, голова твоя калмыцкая, найдешь дорогу, коль собьешься? Темно, компаса нет, не видно!

— Хи-хи-хи! Видно, все видно! Не мозно сбись!

По его объяснению выходило, — он владел лишь сотней-другой исковерканных русских слов, — что заблудиться можно зимой, во время пурги, а не летом, когда дни длинные, когда звезды видны, когда всюду запахи. Зорин слушал, старался понять, сожалея, что ни по звездам, ни по дыму он не смог бы найти дорогу в степи даже летом — этого не проходили ни в гимназии, ни в Институте. «Сними меня с брички, да поверни кругом раза три, я отсюда и на станцию не найду дорогу. Хорошо, нечего сказать, преподавали у нас космографию: знаю я штук десять планет, созвездий, распознаю кое-какие на небе, но пользоваться картой неба и понятия не имею. Не могу определить и перемещений на горизонте точек восхода и захода солнца, в зависимости от времени года, — ведь из-за этого и сидит здесь Хассимов, подстерегает эти точки, чтобы найти заветный клад Мамая! На самом деле, примитивные люди в тринадцатом веке знали в космографии куда больше, чем мы с Хассимовым. Даже вот этот сын природы в драном халате, с мудреной трубкой во рту! Разбирается он в звездах, как в своем кармане». И Зорину припомнились вечера с Хассимовым у костра, ночи в юрте с поднятыми вверху кошмами, под открытым небом, когда крышей был лишь свод небесный, усыпанный сияющими звездами. Сначала, после столицы, ему было даже странно спать на чистом воздухе, но несколько дней спустя он не хотел и вспоминать о многоэтажных домах, о жизни под крышей, друг над другом, о запыленных по-

толках, засиженных мухами. «Кочевники, гляди, и правы, — продолжал он думать, — они ближе к природе и знают небесный свод, как я дифференциальное исчисление. Их не интересуют расстояния звезд от земли, ни отличия светил, но планеты и звезды помогают им, как и морякам, держать путь, не заблудиться в пустыне, — вот так и этому».

Калмыку то-ли наскучило бесконечное курение или махорки не хватило — он спрятал трубку и запел, жалобно, заунывно. Мотив простой и слова несложны: «Ай-ай-ай!» на двух-трех нотах.

— Что ты поешь? Печальное или веселое?

— Веселое! Хи-хи-хи!

«Хороши же их печальные»! — и мысли Зорина перенеслись к хутору Абрамова. — «Удивительное приглашение! Почему к одиннадцати часам вечера?.. Очевидно, не хочет, чтобы ее видели с ним. Она ждет где нибудь у околицы... И пойдут они гулять по степи, разговаривать... Он услышит ее удивительный, манящий голос... Жаль, что ночью не видны ее глаза... Зато она без косынки! А дальше — что? Без сомнения, он нравится ей, иначе не назначила бы свидания... Но как далеко пойдет она?.. А змеи, тарантулы? Или они спят по ночам и, значит, можно присесть на землю?»

Давно уж была глубокая темнота, луна еще не взошла, Зорин еле различал лошадей, а тропы совсем не видел.

— Тропа? Хи-хи-хи! Видна, видна! — смеялся калмык, не понимая глупого вопроса, — иные кал-

мыки видят ночью, как кошки. Этот посвистывал на лошадей, чмокал губами, щелкал языком.

— Скоро приедем?

— Скоро! Хи-хи-хи!

«Чего это он все хохочет?» — спрашивал себя Зорин. — «Неужели потому, что эта глупая баба облаяла нас, осрамила на всю станцию? Завтра же перееду в юрту или отведу себе комнату в недостроенном доме». Он даже просветлел. Ему уже рисовалось: Ирина Алексеевна приезжает на станцию, радуется встрече с ним, они разговаривают, делятся мыслями, мечтами... Узнают ближе друг друга... Почему, в самом деле, и не жениться ему на такой прелестной девушке? Он поедет заканчивать образование в Петербург, она поступит на Высшие Курсы... Кстати, и камень нашелся, — не хочет Управление, так он сам станет разрабатывать карьер. Появятся тогда и деньги! Можно будет жить безбедно и не одному! Картины рисовались одна другой заманчивее, радостнее...

— Тут Абрамов еть! — калмык указал на более темное пятно среди степи, погруженной во мрак. Приглядевшись, Зорин различил кое-какие строения без единого дерева вокруг. Через несколько минут небольшой мрачный дом стал виднее, забор, дом, несколько бричек и повозок у ворот... В темноте выделилась какая-то фигура... «Она?» — сердце Зорина забилось.

— С Эльтона? — послышался тихий мужской голос: — Пожалуйте, вас ждут... Лошадей надо тут

оставить. Лицо подошедшего разглядеть было нельзя. Виднелась борода, прилизанные волосы и длинная белая рубаха на-выпуск, перехваченная в талии.

— Сюда пожалуйте... За мной.

— Жди меня здесь! — скомандовал Зорин калмыку; остроконечная шапка того закачалась.

Зорин вошел вслед за провожатым в темный двор, затем на крыльцо с двумя деревянными ступенями и через низкую дверь с противовесом попал в сени и в дом. Там было прохладно и пахло странно, но приятно.

Проводник зажег серной спичкой толстую восковую свечу.

— Просят обождать! — он низко поклонился и вышел так быстро, что Зорин и тут не разглядел его.

«Степной хутор, небогатый», — решил он, осматриваясь.

Комната — небольшая, с низким потолком, глинобитным полом и неоклеенными стенами, лишь заново побеленными. Свеча прикреплена к столу, веча — наподобие церковных при венчании или в большие праздники. Малое единственное оконце заперто. Зорин хотел открыть его, — оно оказалось глухим и позади стекла ставни. «Воров боятся!» — мелькнуло в голове Зорина; он отошел к столу, простому, с выструганной доской. Около стола — диван, широкий, красного дерева, с высокой, мягкой спинкой и круглыми ручками; у одной из них — валик, покрытый, как и диван, темно-красным репсом. Все просто, но чисто, как бывает у ста-

роверов. На стуле сбоку дивана — небольшой кожаный чемоданчик, а под стулом — знакомые ему зеленые сапожки с высокими каблучками.

«Ее комната!» — чуть не вскрикнул он. — «На этом диване она и спит, за этим столом читает, работает!.. Как же могла она пригласить его, мало знакомого человека, в свою комнату да еще ночью? Что скажут родные?.. Или они знают?..»

Он сел на диван, стал прислушиваться. Какие-то неясные звуки, как будто — из-за стены сзади дивана. Поют? Плачут?.. Зорин приложил ухо к стене из выбеленного сырца: явственно слышалось тихое, заунывное пение. Разобрать слов нельзя, но голоса — мужские и женские, мотив монотонный, незнакомый, и он повторялся, один и тот же, то громче, то тише... «Молятся? ночью?» — Зорин зашагал по комнате и остановился, любуясь киргизскими сапожками Ирины Алексеевны. Снова подошел к стене: все тот же мотив, но темп порывистый, возгласы, всхлипывания...

«Молельня?.. Старообрядцы?.. Хлысты?.. Уехать?» — мелькало в голове. — «Но почему? Какое мне дело до их суеверий? Я приехал к Ирине Алексеевне... А если и она молится, поет?.. Хлыстовская богородица?.. Хассимов уверял ведь... Да мне то что? Каждый верит, как может».

Повернулся — ахнул! На пороге растворенной двери — Ирина Алексеевна, преображенная, незнакомая! В ее распущенных каштановых кудрях — белые цветы, на голове—золотой ореол. Длинный, бело-

снежный саван с широкими складками составлял всю ее одежду; глаза полу-закрыты, но устремлены на Зорина. Как загипнотизированная, она сделала шаг, вошла в комнату — дверь захлопнулась.

— Ирина Алексеевна!.. В каком вы костюме?.. Вы молитесь?

Без слов она приближалась к нему, веки ее открылись; огромные, глубокие глаза уставились на него пристально, странное выражение было в них. Радость свидания? ожидание? насмешка? Свеча внезапно погасла — руки девушки обняли его шею, судорожно ее сжали; их губы слились и она вся прижалась к нему, задрожала...

— Ирина! — только и мог он прошептать, упав на диван. Еле прикрытая саваном, с распущенным поясом, она судорожно сводила руки, ноги, была как в истерике.

— Что с вами, Ирина?..

Зубы ее стучали, руки притягивали его к себе с такой силой, что трудно было разжать их. Молодая, упругая грудь под его рукой... Но не было радости свидания, не было нежности, не чувствовалось и признака любви.

— Ирина!?

Он разжал руки девушки, бросился к двери, растворил ее ударом ноги и выскочил из комнаты. На мгновенье он задержался в сенях, отыскивая ощупью выходную дверь. Чьи-то руки пытались схватить его, удержать, но оттолкнув их, он освободился и выбежал на крыльцо.

Калмык сидел спокойно на козлах, посасывая трубку.

— Домой! — крикнул Зорин, вскакивая в бричку.

Степной мрачный хутор без света, без малейшего, казалось, признака жизни, стал исчезать во мраке.

«Увезти ее?» — пронеслось в голове Зорина. — «Вернуться?.. А если это была комедия? чтобы заманить его, увлечь, сделать из него раба, хлыста?»

— Эй ты, шапка! Гони скорей!

— Есть скорей! Хи-хи-хи!

XIX

— Что вы знаете, Кузьмич, о староверах? — спросил Зорин на следующий день по возвращении с хутора своего начальника, отрывая его от научных исследований.

— О староверах?.. Почему это вас интересует?

— Здесь почти все хуторяне и рабочие — из раскольников разных учений, толков, а я мало что слышал о них. Вы поглотили столько премудрости, что, гляди, и в этом разбираетесь.

— По правде сказать, мало... Были бы источники — другое дело. А где их взять?.. Чего мне недостает — это научных трудов. Оказаться бы в городе с хорошей библиотекой! Дни и ночи проводил бы там. Пусть бы Степановна бранилась... Хотя, между нами, дорогой мой, она была права. Совершенно права! Нам с вами надо держать знамя высоко, пример другим показывать! Да.. Так вы говорили о сектантах? Кое-что могу припомнить... Ну, вы знаете, понятно, что староверы укрылись здесь когда-то от религиозных гонений. Каспийские степи им подошли, — староверам не надо ни церквей, ни церковнослужителей. Все эти секты: штундисты, методисты, духоборы...

— Это я знаю, но хлысты? Что это за секта?

— Она мало известна. И происхождение ее не русское, не христианское, а магометанское. Вероятно,

это учение зашло к нам из Персии, из Афганистана.

— Как так? От магометан?

— Да... Что такое «хлыст»? — Самобичующийся! У мусульман есть такая секта, вернее—одно из толкований учения Магомета. Начало свое она ведет от дочери Магомета, Фатьмы, рука которой является эмблемой многих магометанских народов — есть такая секта и у нас на Волге. Сын Фатьмы и создал это разветвление магометанства, очень распространенное по свету; основано же оно на том, что в религии магометан, как вы знаете, нет посредника между Богом и верующим, нет священника.

— А муллы?

— Они — чиновники, они не рукоположены, у них нет права на загробную жизнь верующего, нет и права наказания. Секта измаилистов, или самобичующихся, не ожидает искупления в загробной жизни, а добровольно переносит его на землю, налагая на себя наказания за грехи. Теперешний глава этой многочисленной секты — прямой наследник Фатьмы, племянник Магомета в энной степени. Он пользуется среди магометан почетом даже большим, чем султан, чем император! Для своих подданных он — святой, решения его и поступки не подлежат критике, желания его — закон для всех... Даже до смешного: вода, которой он моет свое лицо, руки, тело, — священна. Ее разливают по флаконам и отправляют верующим, как целительное средство. И не только вода, а все, что

исходит из его тела, все, до чего он прикасается — все свято, чудодейственно! Англия отлично сумела использовать это суеверие измаильтян, завладев их кумиром, благодаря чему она и властвует над сотней миллионов его последователей, и, опираясь на них, управляет по принципу «Divide et impera» огромной Индией и другими странами. Секта измаильтян распространена и в Африке — в Египте; у арабов носит имя, если не ошибаюсь, Аиссауа, по имени Аисса, первого последователя этого вероучения; из Индии через Персию, вероятно, она и попала в Россию, где была приспособлена к православию, извратив основы и догматы христианской религии, поэтому и запрещена у нас.

— Что же они делают, эти хлысты?

— Налагают на себя, как и измаильтяне, добровольные наказания за земные прегрешения, не дожидаясь загробной жизни, веруя в прощение свыше и в блаженство на земле, если наказания, ими перенесенные, будут добровольны и достаточны... По понятиям хлыстов натура человека состоит из двух элементов: из души, элемента чистого, безгрешного, и тела, виновного во всех земных прегрешениях. В известной обстановке душа верующего способна и во время пребывания на земле воссоединиться с Богом, покинув на время свою грешную оболочку — тело. Это и есть «сошествие благодати», о чем хлысты молятся во время своих торжественных собраний, известных под именем «радений». Моления устраиваются тайно, в известные дни, ночью, и путем пе-

ния, ритмических движений и постепенно наростающих страданий, некоторые из участников, более чувствительные, впадают в состояние того экстаза, когда, по учению хлыстов, душа обретается в общении с небом, блаженствует. Тогда как греховный элемент, тело, получает от обладателя его и от соучастников радения физическое возмездие за грехи, и получает, в такой мере, в какой способно перенести. Измаильтяне бичуют себя ужасным образом, наносят себе и другим раны канжалами, рубят саблями (эти раны, впрочем, быстро заживают)... Русские хлысты не доходят до таких изуверств, но хлещут сами себя прутьями и другим помогают наказывать свое тело, наносят иногда и раны, но легкие.

— Выходит, значит: «не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься»... А в виде покаяния — физическое наказание той части тела, которая грешила?

— Это уже дальнейшее разветвление хлыстовства, в чем оно и отличается от практики измаильтян. Различие еще и в том, что у магометан женщины не допускаются в эту секту, у хлыстов, наоборот — они играют главную роль, как существа более нервные и быстрее реагирующие на истязания. Хлысты отлично пользуются женской натурой для общения между небом и землей, для снисхождения «благодати» на верующих, как они называют этот физиологический экстаз. Одну из наиболее чувствительных женских натур они избирают своей «богородицей», —

она-то и способствует успеху «снисхождения благодати». Кажется, эта «богородица» почти всегда молодая, красивая девушка.

— Они и ее подвергают истязаниям?

— Не думаю... Она — посредница между небом и землей, через нее нисходит «благодать». Она для них богиня, почти святая. Ее пожелания — закон.

— Каким же образом набирают они себе последователей? Учение хлыстов запрещено законом,— нельзя, следовательно, ни проповедывать, ни вербовать других.

— Исподтишка, понятно. Через родственников, знакомых. И по наследству — от отцов к детям. Впрочем, я хорошо не знаю.

Кузьмич принялся за прерванные вычисления.

Зорин подошел к открытому окну, засмотрелся: ветерок отогнал «рапу» на другую сторону озера, белая ослепительная поверхность соли отливала розоватым блеском солнечных лучей, отраженных кристаллами магнезии. Глухо упал паровой копер, переключая пар, — тяжелая чугунная баба падала, забивая деревянные сваи нового моста через Смарагду. Издалека доносились стуки топоров, визг пил, слышались звуки «Дубинушки», — плотники тащили там тяжелое бревно:

Эй мордви-и-ин, подвинь
Да и раз!
Еще ра-а-аз, подалась
Да и раз!

Доносилось пение и со станции, где артель нагружала на вагон рельсы и ритмом песни регулировала отдельные усилия, чтобы не тратить зря энергии каждого и не отхватить кому-нибудь руки или пальца.

«Что же это было на хуторе?» — думалось Зорину. — «Хотели завлечь меня в хлысты?.. Для такой девушки, правда, можно забыть всех и все!.. Или у нее не было расчета?.. По увлечению?.. Живет в степи, хуторяне, Ржаные... Могла и в самом деле забыться... Темперамент у нее, видно, болезненный... Но и я хорош! Увлекся богородицей! Катал ее на паровозе!.. Ловко!.. Не дурна была бы сценка для кинематографа, — с богородицей на рельсах! Да на полном ходу — в реку! — Мост унесен весенней водой!»

Загудел паровоз, подавая сигналы на поворотном треугольнике, тут же за конторой; послышался скрип костылей и рельсовых скреплений: кривая там была слишком крута, управление дороги всемерно экономило, и паровоз поворачивался лишь с большим трудом, чтобы везти балластный поезд на линию передним ходом. «Надо торопиться с постройкой поворотного круга», — мелькнуло в голове студента, — требования реальной жизни брали верх, — «с таким треугольником зимой нам будет зарез...»

— Жалость какая! — Кузьмич теребил пятерней седеющие кудри, — формула безусловно правильна, хотя и эмпирическая: хорошие бы коэффициенты плотности грунтов, замечательная бы штука получилась. Не надо и откачек! Определили бы в ла-

боратории данные о проходимых породах, кривая понижения уровня и вычислилась бы, а, следовательно, и запас воды или нефти в пласту. Смотрите-ка на эту красоту! — Кузьмич восторженно глядел на исписанную формулами и вычислениями бумагу, на вычерченную им кривую.

— Замечательно! Осилили таки! Поздравляю вас, Кузьмич, — Зорин хлопал начальника по плечу: — Но хороша, согласитесь, и сама наша деятельность здесь, работа по постройке! Особенно в этой глуши, где в чести одни суеверия, где нет интересов созидательной жизни. Люди здесь заботятся лишь о своих животных потребностях, — попить да поесть, а в мыслях, в мечтах: у одного — попользоваться чужим добром, откопав клад, у другого — удостоиться рая за гробом; кое-кто не прочь начать блаженствовать и во время земного существования, хотя бы ценой наказазания за грехи и в этой жизни. А то и авансом!

— Что же другое и остается им,—согласился Кузьмич, — бедным людям без цели в жизни, во власти предрассудков, суеверия? Надо просветить степь, заинтересовать народ чем нибудь реальным, захватывающим...

— Даже вычислением формулы откачки жидкостей?

— И этим... чем угодно! Но практически, лишь бы человек не погружался в мистику, в заботы о своем загробном благополучии. Есть ли там что или там ничего нет — потом видно будет, а пока надо работать.

— Правильно, ученый старик! Вот я и пойду на работы, а оттуда в карьер. К вечеру вернусь.

— Не задерживайтесь, а то — знаете Степановну?

На дворе казармы — знакомая картина:

— Ци-па, ци-па, ци-па! — Степановна в фартуке, в шляпе и в ботинках на высоких каблуках с большой миской корма для цыплят; птицы, заслышав знакомый голос, слетаются со всех сторон, проворные цыплята скорее всех, за ними ковыляют утята, индюшата и сзади всех — неповоротливые и болтливые гуси, всегда чем-то недовольные. Степановна бросает размоченный в воде хлеб, перемешанный с зеленью, посыпанный мукой, и радуется, глядя, с какой жадностью ее птенцы набивают себе зобы, торопятся, мешают друг другу.

— Возвращайтесь скорей! Вы, полунощник! — она посмотрела сбоку на Зорина своими монгольскими раскосыми глазами.

— К вечеру вернусь, — улыбнулся тот, подходя к ней поздороваться. Она вытерла о фартук мокрую, испачканную липким месивом руку, подала ее студенту. Серые, глубокие глаза вновь глядели на него приветливо.

«Вон эту хлыстовку! Из головы и из сердца!» — решил Зорин, быстро шагая к работам. — «А карьер? Не хочет Управление, — стану разрабатывать сам... С деньгами?.. Как нибудь управлюсь! К чорту тогда и службу!»

XX

— Как дела, Хассимов? — Зорин осматривал, несколько дней спустя, работы по линии, недалеко от станции Эльтона. Хассимов, произведенный в десятники и довольный повышением и прибавкой десяти рублей в месяц, был увлечен новой для него работой, к тому же хлопоты о воде отпали, устроено было временное водоснабжение из балки.

— Ничего, идут. С солончаком только беда! Говорю, Василь Васильич, не поднимем до осени пути на балласт — пропадем... Хоть бы на первый слой.

— Знаю, да что поделаешь? Цена за балластировку такая, что подрядчик прорабатывается, рабочим платит гроши, к нему и не идут.

— Жидоморы! Польза им будет, что-ли? Человека разорят, сами на мели и останутся... Говорят, Симонов денег в Саратове не достал, в Москву поехал, там дураков ищет. А пока что, видали, какой народ он на погрузку ставит? Шпана одна, с бору да с сосенки, — вагонов и в глаза не видели. Тьфу, пропадай ты пропадом! Эй, ребята, покурите пока что!

Этого рабочие и ждали, положили ломы, домкрат, для подъема рельс, выравнивая путь, небольшие деревянные односторонние лопаты — подштопки, которыми утрамбовывают песок под шпалами; кто сел, кто прилег и вытянулся на обочине пути; все закурили, кто — самодельные цигарки, кто трубки.

С проведением рельсового пути Хассимов ушел весь в новую для него деятельность. Он скоро усвоил тонкости рихтовки линии, забивки костылей, разгонки зазоров в стыках рельсов, натяжки болтов. Сильный, ловкий от природы, он быстро наловчился, не уступал специалистам: с одного взмаха молотка загонял костыль в шпалу и легонько пришлепывал его, чтобы прихватить подошву рельса. Пригодился ему и прежний опыт его по работам на Волге; он понял пользу визирки и применение ее к выверке линии, а природный глазомер позволил ему выверять путь и кривые почти безошибочно и с удивительной быстротой. Самолюбивый, он не допускал и мысли, чтобы Эльтон, новая деповская станция, оказалась хуже других, все дни проводил на линии, на станционных путях, на стрелках.

— А клады оставили? — шутил Зорин, осмотрев работы. — Первую точку по солнцу и то не определили, в календарях запутались. Когда же — к вашим профессорам монгольским?

— Некогда, Василь Васильич... То одно, то другое. Поднимем путь, тогда и займусь. Не до Мамая теперь — дело захватило. Пока что клад подождет!

— А кубышка деда?

— Там музыка другая? Тот может и улететь...

— Ржаного побаиваетесь?.. Унесет?

— Маху не даст!.. Он, я слышал, не отстает. Да что делать? Коли ему на роду написано — пусть пользуется, я не жадный. И то предлагал ему работать из половины, да где же там! Ну, ребятуш-

ки, передохнули? За дело, да команду слушай! А то пальцы враз отхватит. Рукавицы надеть будет не на что.

Зорин смотрел на две стальные нити рельсового пути, убегавшие за горизонт, в бесконечность, как бы приглашая следовать за собой. Хилая, хрупкая линия только начинала жить, еще еле дышала, все же она соединяла заброшенный раньше Эльтон с Россией, уменьшала время, сокращала расстояние. Движение было лишь случайное, редкое, и все же можно было добраться до Саратова, до Астрахани много скорее, чем на лошадях. Паровозы, правда, были старые, вагоны — товарные, потрепанные, хорошего состава строящимся линиям не отпускали; плохи были и рельсы, легкие, изношенные, с какой-то второстепенной линии, где их заменили другими, более тяжелого профиля: еще хуже были шпалы, хоть и новые, но еловые и сосновые, сучковатые, дешевые, еле удовлетворявшие требованиям. Сколько споров вызывали они по вечерам между техником и Кузьмичем. Степановна только снисходительно посматривала на горячившихся специалистов, сидя за чайником, и удивлялась, как мужчины могут интересоваться такими пустяками, когда в жизни столько вопросов, более важных — суметь заварить, например, тесто для кулебяки, вылечить крыло у индюшки, присмотреть за кухаркой, чтобы та не таскала крупчатки своему хахалю...

Кузьмич отстаивал американскую систему прикрепления рельсов к шпалам костылями, студент же до-

казывал, что, при дешевизне рабочих рук в России, европейский способ — шурупов — был бы куда полезнее из-за слабых шпал в России, где дубовых или стальных шпал почти не существовало..

«Все таки», — думал студент, стоя на линии, где рабочие Хассимова вновь принялись за рельсы, — «большая часть работ закончена. Еще несколько усилий, и можно будет катить в Астрахань, в Москву, не думать о распутице, о зиме. Да и мне пора в Петербург, если из каменного карьера ничего не получится... Особенно после этой истории на хуторе!»

— Наделали вы мне хлопот, Василь Васильич, с паровозом, когда «богородицу» катали, — говорил Хассимов, подойдя к начальнику, когда рабочие подсыпали землю под приподнятые шпалы.

— Вина не моя, Костик тогда как с цепи сорвался... Ничего серьезного?

— Крупных повреждений не было, а малых — хоть отбавляй. Но вы сильно рисковали — могли и под откосом очутиться. Гляди, на семьдесят верст скорости махнули, вместо двадцати!

— Ничего, путь выдержал. Правда, нас временами так подбрасывало, что я боялся, как бы до неба не долететь... Кто это?.. За мной?

Кто-то бежал со станции, маша руками.

— Василий Васильевич, на станцию вас просят! Как можно скорее!

— Случилось что? несчастье? придавило кого?

— Нет. Больную из степи привезли.

— Больную? Кого, не знаешь?
— Барышню какую-то.

У приемного покоя юрты, где еще так недавно жил Зорин, стояла бричка, запряженная парой; она была пуста, кучер ожидал у полога юрты в толпе любопытных.

На койке душной полутемной юрты лежала женская фигура в светлой блузке, прикрытая легким одеялом. Каштановые волосы раскинуты, глаза закрыты, сама, видимо, в жару... Руки Зорина похолодели. В юрту вошел с ним еще кое-кто, и все с удивлением уставились на лежавшую девушку, помогали фельдшеру-поляку найти нехватавшие ему русские слова, давали советы. Фельдшер старался объяснить что-то на своем ломаном языке двум пожилым людям, по виду хуторянам.

— В чем дело, Казимир Казимирович?

— Вот, пане начальнику... Не могем, як пана Бога кохам, не могем!

Отбывая военную службу санитаром, молодой разбитной полячок Драгун нахватался кое-каких знаний, выдержал затем экзамен на фельдшера и устроился по медицинской части на постройке дороги, где жалование было небольшое, а жизненные условия трудные. Драгун считал себя интеллигентом, носил галстук, желтые ботинки, но интересовался лишь отпусками и пользовался всякими уловками, чтобы улепетнуть в Варшаву. Из его слов Зорин понял, что

хуторяне привезли больную, горожанку, и просят поместить ее в больницу. Чем больна — неизвестно, сейчас — без памяти и положение, видно, опасное. В таком виде везти ее нельзя ни в Астрахань, ни в Саратов, но и здесь оставить невозможно.

— Надо сделать все, что можно, Казимир Казимирович...

— Так, пане, так! Но я — для линии, а не для степи. Мне дорога платит, а степь мне ниц не платит. Не могем, пане начальнику. Як пана Бога кохам, не могем!

— Не можем же мы отказать ей в помощи, да еще в таком положении!

— Не могем собирать всех больных со степи, не могем! — горячился фельдшер, понимая, что с формальной стороны он прав. — Мне платят за служащих, за рабочих, а не за степняков. И пан доктор не позволит.

— С доктором я устрою, об этом не беспокойтесь! А пока надо помочь больной. Где положить ее? Не здесь же, с больными мужчинами! Надо — в доме, ведь мы недавно отвели вам комнату.

— Не можно там! Не мам места!

— Мою комнату возьмите, Василий Васильевич, — предложил телеграфист, гитарой и пением которого развлекалась по вечерам станция.

— А вы?

— В конторе телеграфа помещусь.

— Отлично. Тогда устраивайте.

Хуторяне даже просветлели, когда услышали о разрешении оставить больную; они пообещали навестить ее через день-другой, предупредить Ржаного, если он вернулся из города, и сообщить родителям девушки куда-то около Новоузенска о ее внезапной болезни.

Перенесли больную в комнату телеграфиста, поспешно приведя что можно в порядок. Хлопотал и фельдшер — он понял, что сопротивляться бесполезно.

— Что с ней, пане? Опасно?

— Не вем, пане начальнику! Я по наружным хворам — ноги, руки, зубы. А по внутренним — бардзо мало.

— Но постарайтесь, подумайте! Жар большой? сорок? Доктора мы выпишем. А пока надо найти женщину для ухода. Киргизку Тарантула? Нет, я поговорю со Степановной. Может быть, Марью? Та умеет банки ставить. Сделайте пока, что можно. Я вернусь сейчас же...

«Что случилось?» — думал Зорин, спеша домой. — «Простуда? желудок?.. что-нибудь женское?» А в памяти всплывала низкая комната хутора, всего лишь несколько дней назад, толстая свеча желтого воска, зеленые сафьяновые сапожки и сама Ирина в белом саване, с цветами в распущенных волосах, ее гибкое, нервное тело... Но все сейчас же стушевалось, отошло на задний план. «Больная... несчастная... Быть может, умирает!..» Походная койка — не та ли самая, на которой он проспал несколько месяцев,

жесткая подушка, набитая степной травой, чужие мужчины кругом...

— С работами что-нибудь? — Степановна, встретив Зорина на крыльце, смотрела на его встревоженное лицо.

— Задержался, Степановна! Хочу попросить у вас Марью, — и Зорин рассказал поспешно о больной, не упомянув, где и как он видел ее раньше.

— Где она?

— В комнате Миши... Фельдшер ухаживает за ней, но надо бы женщину.

— Что?.. Вы с ума сошли! Ефим! Лошадей!

— Степановна, иди обедать! — звал Кузьмич из столовой: — Сама не любишь, когда мы опаздываем... Я заморил червячка — поспешай, а то по второй пройдусь.

— Обедайте без меня! — Степановна, в шляпе, помогала Ефиму закладывать серых.

— Куда ты, Степановна? — Кузьмич вышел на крыльцо, когда она садилась в бричку.

— Я с вами, — подбежал Зорин.

— Не ваше дело! — Степановна стегнула лошадей и помчалась на станцию.

— Какая муха укусила ее? — разводил Кузьмич руками. — Начинать ли обедать, ждать ли? Что вы ей рассказали? Что за больная?

Минут через десять — снова топот копыт, стук брички. Ефим сдерживал коней; больная, укутан-

ная в шерстяное одеяло, полулежала на сидении, головой на коленях Степановны.

— Помогите, вы! — сумрачно скомандовала она.

— Куда положить? — Зорин не чувствовал тела девушки на своих руках: — На мою кровать, понятно. Я устроюсь в юрте с Хассимовым.

Пока взбивали сенник на железной складной кровати и меняли простыни, больная, на коленях Зорина, раза два открывала глаза, улыбалась, но узнавала ли, понимала ли — где она, кто вокруг нее?

— Уходите теперь! — Степановна подняла на руки больную, понесла к кровати: — И лошадей за фельдшером! Чтобы был сейчас же здесь!

Долго, долго оставался фельдшер со Степановной у кровати больной...

—Кузьмич, звони Дударю! — командовала затем Степановна, выйдя, наконец, из конторы: — Пусть едет, как хочет, но чтобы на Эльтоне был, как можно скорей.

— В чем дело, Степановна? Мы еще и не обедали...

— Вызывай доктора! Немедленно! Дай лошадей, паровоз, но чтоб был сегодня же! И собирай скорей книги, бумаги, в конторе будет больная.

Вечером больной, казалось, стало легче. Все старались быть ей полезными, кто нес ватное одеяло из разноцветных лоскутов, кто советовал чай из сушеной лесной малины, которую получали от одного аптекаря из Перми. Ставили банки, фельдшер давал порошки, настойку из степной травы... Девушка подчинялась безропотно, даже улыбалась, видя, как о ней

заботятся. Прояснились лица окружавших ее, всем стало легче, успокоилась и Степановна: больная мучилась меньше, дремала. Вечером она уснула; оставили при ней лишь Марью, которая проявила совсем материнские чувства, — если бы дочь ее, Таня, была в живых, она была бы теперь такого же возраста и так же красива...

Пришлось Зорину рассказать за столом, кто эта девушка, где он познакомился с ней, сказал он и то, что родителям ее послана телеграмма с просьбой приехать.

— Староверка? — удивился Кузьмич.

— Нам-то что? — обрезала его супруга: — Хоть бы еврейка! Когда мучаются, страдают, все равны... А потом? — допытывала она Зорина: — Вы были, я знаю, на хуторе Абрамова. Не там ли ее видели? — серые глаза зырянки сверлили, допытывались...

— Да... бывает, — задумчиво говорил Кузьмич, выслушав историю о хуторе. — Я читал даже, что секта эта имеет глубокое духовное основание... Мне кажется....

— Дурак вы, дурак! — Степановна не дала мужу развить его ученого взгляда: — Говорите с вашим жуликом-татарином о Мамае, об его кладе... А когда клад сам вам в руки давался — вы убежали! Сердце женщины по вашему не клад?.. Эх, вы, простофиля!

XXI

Доктор постройки, Дударь, приехал только в конце следующего дня, несмотря на настойчивую телеграмму и просьбы по телефону, и то добрался лишь благодаря высланной ему навстречу дрезине: сообщение по линии было прервано сошедшим с рельсов поездом, путь был разворочен.

Дударь долго выслушивал больную, от которой Степановна не отходила ни на шаг, выстукивал, хмурился. Давали девушке пилюли, ставили компрессы. Доктор сохранял спокойствие, обнадеживая, хотя больная была почти без сознания. Когда она наконец уснула, ее оставили в покое под присмотром Марии, оказавшейся, к счастью, заправской сиделкой.

В столовой, через комнату от больной, Дударь сбросил свою профессиональную строгость, стараясь развлечь хозяев, удрученных болезнью. Он расположился у стола и, по привычке, занялся резьбой по дереву, рассказывая о новостях Саратова, о сплетнях управления постройки, кстати и о событиях внутренней жизни России.

Высокого роста, худой, Дударь сам был безнадежно болен какой-то редкой болезнью, от которой даже не лечился, но и не умирал. Он был из хохлов, хотя по малороссийски не говорил, любил органически свой многострадальный богато одаренный народ, особенно — его песни, и ненавидел поляков (больше всего

за то, что из двадцати четырех начальников-инженеров на постройке астраханской дороги двадцать один были поляки). У него и самого в молодости был хороший голос, и на постройке астраханской дороги, он не раз удивлял собутыльников — вдруг затянув:

Ой не ходи, Грицю,
Тай на вечерницю...

Его нисколько не стесняло, что эта украинская песня сложена для высокого женского голоса; не смущали его и слова, которые он путал, — нравился ему самый мотив, такой грустно-красивый; родные звуки захватывали доктора, ему слышалось в них раздолье Украины, женские слезы, страдание...

— Да, — качал тогда головой Кузьмич, вспоминая историю Украины, — подумать только, что вынес этот народ... За одно гетманство Богдана Хмельницкого было двадцать восемь войн малороссов с поляками, не считая местных стычек и нападений без объявления войны. Двадцать восемь раз поляки заключали мир с казаками, чтобы собраться с силами и вновь напасть то в одиночку, то вместе с турками, татарами. Половина населения Украины была уничтожена тогда: старики, дети, женщины... сожжены живыми, посажены на кол...

С легкой руки доктора и со времени недолгого пребывания на Эльтоне хохлов-грабарей, малороссийские песни слышались там всюду; даже телеграфист Миша забросил вяльцевский репертуар и заливался на

всю степь баритоном — «Ой, во лузях», а любители с хорошим слухом дружно подхватывали припев, не вникая, что собственно означают слова и как они произносятся.

Целыми днями Дударь не расставался со своим перочинным ножом. «Перочинным» он назывался скорее по недоразумению, в действительности то была целая мастерская в миниатюре, набор семидесяти двух небольших инструментов, среди которых было и несколько ножичков. Этот нож, с перламутровой отделкой и гравированными на ней подписями почитателей, поднесен был доктору его сослуживцами, вместе с серебряной братиной в футляре, по окончании забайкальской дороги, и был известен всем на Эльтоне, как и страсть Дударя к резьбе, и к скульптуре. Всюду по дороге, где бы ни увидел он что-нибудь подходящее, он собирал материал — кусочки дерева, корни, кости животных, просто картофелины и, где бы ни находился, пристраивался к столу и, напевая или рассказывая что нибудь, вырезывал все, что приходило в голову. Резал он быстро, по вдохновению, одним ножичком, с точностью удивительной. Игрушки раздаривал сейчас же детям, остальное — желающим. Вырезывал он фигуры чудовищ, животных, лица людей, знакомых или созданных воображением, смешных, иногда и кошмарных. В каких только позах ни изображал он главного инженера астраханской постройки и его помощника, поляков, ненавидевших все русское! Вырезав фигурку или голову (раз — даже целую фигурную по-

говорку: «Один с сошкой, семеро с ложкой!»), доктор ею больше не интересовался, забывал ее и принимался за другую. Страсть к резанию, как он говорил, обнаружилась у него с детства и случайно. Мальчиком он кусал ногти; чего только ни делали родители, чтобы отучить маленького Дударя от этой вредной привычки; кто-то и посоветовал дать мальчику занятие для рук — ножичек и кусок мягкого дерева. С того времени творчество это стало необходимой потребностью Дударя, как другим — пить и есть.

— Похожа, Аким Акимович? — обратился доктор к Кузьмичу.

Засмотрелся и Зорин: из куска простого дерева выглядывала женская головка на подушке, разбросанные во все стороны волосы, острые черты красивого лица, лишь намеченные штрихами, живо напоминали больную...

— Да, — выговорил задумчиво Кузьмич, посмотрев на работу, и зашагал по комнате.

— Что вы думаете, доктор? — не выдержал, наконец, Зорин: — Что у нее? Выживет?

— Что? -- доктор, не поднимая головы, отделывал миниатюрную деталь своей скульптуры. — Кто его знает? Если бы вот ток: «Чик!» — Дударь махнул ножиком по воздуху. — А то можно только догадываться... Острый аппендицит, пожалуй... Ждать надо, милый мой, природа да молодость чудеса творят! Да... На постройке сибирской мы одному пареньку гроб, было, заказали: еле дышал... Да про моло-

дость-то его и забыли, — а парень на другой день каши гречневой просит!

— Организм женщин, — вставил Кузьмич, — живуч, вынослив. Возьмите хотя бы беременность: через какие испытания проходят они за девять месяцев, а в большинстве случаев — как с гуся вода!

— Нам бы с вами, Кузьмич, такое развлечение — что бы от нас осталось? А?

— Молчите, вы! Как не стыдно. Девочка больна, а вам хоть бы что! — Степановна стояла в дверях, покинув на минуту больную.

— Да мы, Степановна, так... Про крепость женского организма, — защищался Дударь, — мы...

— Что вы? Что вы понимаете в женщинах? Что она для вас, мужчин? Игрушка! Поиграли — да и прочь! И играть-то часто не умеете! — Зорину показалось, что глаза ее блеснули в его сторону.

— Барыня, барыня! Пожалуйте скорее! — торопила ее из передней Марья: — с барышней худо.

Столяры постарались, в какой нибудь час они соорудили красивый гроб на резных ножках, отделали его позументом от накидки Степановны и белым шелком, приделали с боков дверные ручки из меди. Родственники и родственницы покойной, приехавшие из степи, молча сидели у гроба, сидели неподвижно, как истуканы, не проявляя ни чувств, ни волнений.

В конторе все ходили на цыпочках, говорили шо-

потом, как бы опасаясь потревожить тяжело-больную, а не навеки уснувшую.

Один Ефим не выдерживал, забывался и покрикивал на цепного Шарика, который ощетинил шерсть, забился в будку и глядел оттуда странными глазами. От времени до времени он начинал выть жалобным, протяжным воем, будто плакал.

— Цыц, ты! Нечистая сила! — кричал тогда старик, поспешно зажимая пасть собаке. — Пес смерть чует, — тихо извинялся он: — Собаки, брат, душу человека вот как знают... Как на ладони ее видят... Пока душа на небо не отлетит, покоя ему не будет!

Кузьмич молча ходил по столовой, забытый всеми, не зная за что приняться — без комнаты, без стола, без вычислений.

К счастью, с ним был доктор, успевший уже украсить резьбой деревянный восьмиконечный крест столярной работы, для возложения на грудь усопшей. Крест этот, из свежей смолистой сосны, крест старинный, дореформенный, такой дорогой старообрядцам, казался выточеным из слоновой кости с резьбой в византийском стиле.

Крышку гроба родственники усопшей просили не завинчивать: на хуторе должны были прощаться с нею и родня ее из Новоузенска, и знакомые. На Эльтоне проститься пришли почти все со станции, даже те, которые и в глаза ее не видели, — глубоко человеческое уважение к смерти, страх перед ней, в особенности когда очередная жертва молода и у нее все права на жизнь, на ее радости! Плакали женщи-

ны, растрогались и мужчины, машиниста же Костика почти силой увели на двор. Не плакали только родственники да Степановна, которая владела собой, быстро распоряжалась, как будто всю жизнь служила в похоронном бюро.

Не найдя восковых свечей, зажгли стеариновые, а мальчишка-хуторянин жег какие-то корни, — удушливый запах которых, похожий на ладан, наполнял комнату, где почивала покойница.

Зорин был как в тумане, не отдавая себе отчета, что перед ним происходит и что это — последний акт жизненной драмы, унесшей безвозвратно молодое существо, полное сил, щедро одаренное природой. Люди подходили по очереди к гробу, крестясь и вытирая глаза или губы; одни становились на колени, другие лишь прикладывались к только что сделанному, еще не освященному кресту. Кое-кто клал земные поклоны, многократно крестясь.

Покойная лежала, как живая; юная, красивая, в белом платье, — его успели смастерить из того, что дала Степановна, — с белыми цветами в волосах и с букетом на груди. Ничто не говорило о ее болезни, о безвременной кончине. Лицо было спокойно, веки слегка приподняты, — казалось, девушка лишь отдыхает, вот-вот она рассмеется, встанет, и наваждение рассеется! И чего ни дал бы Зорин, чтобы это было только наваждением, чтобы события вернулись на несколько недель назад и можно было забыть о том, что случилось, как забывают о плохом сне, и вновь пережить прошлое,

только пережить его уже по иному... «Не я ли виноват? Зачем я убежал? Быть может, она в гробу и не лежала бы!»

Люди же подходили, кланялись, целовали крест... Пришел и татарин Хассимов вместе с Тарантулом. Хассимов долго стоял на коленях, опустив голову, как бы раскаиваясь за свои мысли о ней; он тоже приложился к кресту вслед за другими и опустился еще раз на колени. Долго не покидал гроба и поляк-фельдшер.

— Пане, — тихо шептал он Зорину, — не ошибся ли пан доктор? Глаза ее смотрят! Клянусь Богом, смотрят! У нас в полку то було!..

Когда гроб накрывали крышкой, Зорин еле удержался, чтобы не остановить рабочих. «Хотя бы дыры были в крышке!» — мелькало в голове. — «А что, если и в самом деле она только уснула?»

Ему хотелось затем крикнуть, чтобы затягивали ремни осторожнее, чтобы не толкнули гроба о притолку при выходе на крыльцо, чтобы подстилка из степной травы на подводе хуторянина была мягкая...

Во дворе ждала толпа. За оградой стояла и группа киргизов верхами, с удивлением и любопытством рассматривая необычное скопление народа. Головы мужчин обнажились, когда гроб показался на крыльце; все набожно крестились, многие стали на колени....

— Шапки долой! — крикнул киргизам Ефим, показывая на свою обнаженную, лысую голову: — Говорят вам, шапки!

Киргизы не понимали, все же один из них стащил свой мохнатый головной убор и мял его в руках, не зная, что делать дальше. Его розовая тюбетейка на бритой голове, расшитая красочным восточным узором, играла и переливалась блестками и бисером под лучами осеннего солнца.

XXII

Шел и третий год постройки астраханской дороги. Занятый с утра до ночи работой, Зорин не замечал времени, в Петербург не уехал, хотя двухлетняя забастовка студентов в России кончилась, занятия начались повсюду.

Как и в начале постройки, Зорин помогал Кузьмичу, вернее — замещал его на участке линии, хотя и неофициально: начав разработку камня за свой счет, он был принужден уйти с места и в числе служащих дороги больше не числился. Несмотря на это, он продолжал, как и раньше, исполнять свои прежние обязанности, добровольно и теперь бесплатно, просто по дружбе с Кузьмичом, чтобы избавить того от докучливых зачастую обязанностей, да и по любви к делу и к самой станции.

Разрешение на разработку камня ему удалось получить быстро, кроме, почему-то, права на добычу нефти и золота в уступленной ему казной на арендных началах огромной площади степи, — других желающих получить эту аренду, правда, тогда и не было. Чтобы поскорее позабыться после кончины Ирины, рассеяться, он с головой ушел в новое предприятие, имея в кармане лишь около сотни рублей — все, что удалось ему скопить на Эльтоне почти за два года службы, — и быстро преуспел. Самостоятельный человек теперь, подрядчик по несложным камен-

ным работам и креплениям выемок, откосов, мощениям, Зорин работал, расширял свое дело и не думал о будущем. Кузьмич, однако, советовал ему неоднократно бросить карьер, не гнаться за наживой, не зарываться в коммерцию, а снова приняться за учение и закончить образование в Институте, получив звание и знак инженера. Совет искренний и верный, да нелегко было Зорину покинуть насиженное место на Эльтоне, куда он пришел когда-то одним из первых, где знал каждую мелочь, каждую кочку в окрестностях; жаль было оставить и собственное предприятие, самим им созданное из ничего.

Камень действительно нашелся и в достаточном количестве, хотя залегание его и было какое-то странное: сплошных каменных наслоений не встречалось, попадались лишь местные, что и вынуждало применять ямный способ разработки, добывать ближе к поверхности, работать попроще, подешевле. Когда добывание камня из какой-нибудь ямы становилось трудным, — камень иссякал в ней или пласты его уходили в глубину, — яму заваливали земляными отвалами, отбросом камня, щебенкой, и принимались за разработку в другом месте по соседству. Качество камня оказалось отличное и расходы по его добыванию, даже при таком хищническом способе разработки, незначительными. Работа в карьере шла полным ходом, потребность в камне росла, хоть он был найден поздновато; выяснилось вскоре, что потребности дороги в нем далеко не удовлетворены. начался ряд сооружений, построек, которые раньше

откладывались на будущее время из-за дороговизны привозного строительного матерьяла; нашелся целый ряд и других неотложных потребностей в камне.

В карьере работало уже больше полутораста человек, по преимуществу киргизов, которые подъехали из глубины степей с кибитками, юртами, женами, скотом; нужда заставила, наконец, и этих привольных детей природы взяться за непривычный им труд. Вблизи от карьера степь покрылась становищами, юртами — целое поселение! Горели костры кизяка, тявкали собаки, бродили верблюды, кони, готовился кирпичный чай... В этом месте степь напоминала о временах монгольского нашествия или о ярмарке в Ханской Ставке. Некоторые из киргизов сохранили даже луки, стрелы, одежду предков почти без изменения. Строй жизни, обычаи, юрты, все было такое же, как и семь веков назад, когда монголы нахлынули и заполонили Россию.

Для перевозки камня киргизские кони не годились, — они ходили лишь под седлом, — зато отлично справлялись с транспортом верблюды.

Нельзя и придумать животного более полезного для степи. Верблюд возит кибитки, возы, таскает клади на горбу, вынослив на редкость, совершенно неприхотлив в пище — ест то, что ни лошадь, ни корова, ни баран и в рот не берут, такую колючку, до которой нельзя и дотронуться. Верблюд может оставаться без воды много дней, не любит ее, боится. Нередко можно наблюдать в степях, как целый караван верблюдов остановится из-за неболь-

шого, случайного ручейка в балке после дождя: осторожные и боязливые животные не решаются итти в брод. Приходится распрягать их, переправлять возы один за другим на лошади или осле и кнутом перегонять порожних верблюдов вброд на другую сторону. Боязнь верблюдов войти в воду, наступить на грязь, объясняется тем, что копыт у них нет, ступни их мягкие, широкие, скользят по грязи, длинные ноги разъезжаются — верблюд и боится сломать, вывихнуть ногу. Он очень умен, слушается голоса хозяина, как собака, безобиден, лишь иногда плюется жвачкой, когда ему надоедают. Шерсть верблюда ценна для степных жителей, мясо его съедобно, русские, впрочем, признавали только молодую верблюжину. Не раз приходилось Зорину пробовать пельмени, в фарш которых подбавлено для вкуса и для аромата мясо молодого верблюженка. Лишь весной, в период любви и размножения, к верблюдам нельзя и подойти, особенно к самцам, — их выгоняют тогда в степь на неделю, другую. В это время верблюд не подпускает к себе никого, даже хозяина, будто бы потому, что процесс любви для верблюда очень труден; необходимый аппарат выдвигается у него не вперед, как у всех самцов, а назад. Кроме того, животное это обижено природой и в отношении величины органа размножения — он не соответствует его огромному росту.

В степях существует по этому поводу монгольский анекдот-легенда, со времен Чингис-Хана. Когда Танги, верховное божество монголов, наделял самцов

принадлежностями любви, последним в очереди, по лени и упрямству, подошел осел, а за ним и его постоянный спутник, верблюд. — «А мне?» — дико заревел осел. Танги заткнул уши и, не посмотрев, что оставалось у него под рукой, бросил ослу первое попавшееся, лишь бы не слышать ужасного рева, да вот ошибся — наградил осла тем, что предназначалось верблюду! Осел, довольный подарком, пошел вслед за другими, верблюд же, ничего не спрашивая, последовал по привычке за ним. Танги взял последнее, что еще не было отдано и предназначилось ослу, и бросил верблюду вслед, — так оно к нему и пристало...

Кое-кто из киргизов знал несколько слов по-русски, многие же хуторяне говорили хорошо и по киргизски. Отношения между ними были великолепные, хотя киргизы работали плохо да и не понимали, что значит работать, за что им платят, кто именно и сколько. Они не умели держать в руках ни лома, ни кирки, — мешала им одежда, их бесчисленные халаты, мягкие сапоги, меховые шапки. Русские показывали им, как надо раздроблять камни кирками, бурить дыры, нагружать камень на подводы; киргизы не обижались, смеялись, забавляясь, как дети, и в общем не понимая, почему какой-то молодой хозяин дает им деньги за эту забаву.

Иногда встречались камни, которые нельзя было ни стронуть с места, ни разбить. Прибегали тогда к буренью, к «зелью», самодельному пороху, чтобы разорвать большие глыбы на куски; это киргизы лю-

били больше всего, удивлялись силе взрыва, грохоту. Для этой работы да для забавы порох, впрочем, и был изобретен когда-то в Китае; в Европе же, много столетий спустя, ему дали другое применение!

На верблюдах подвозили затем проданный дороге камень до места работ, чтобы замощать кюветы, крепить откосы, класть фундаменты, строить водонапорную башню. Работа в карьере спорилась, трудились охотно, все были веселы, особенно киргизы. Не раз, однако, они подмигивали молодому хозяину раскосыми прищуренными глазами — они-де знают, для чего он копает.

— Клад Мамая ищешь! — говорили ему и русские, давно найдя объяснение этой странной, по их мнению, работе. Они твердо были уверены, — хуторяне, старообрядцы, казаки, киргизы, — что разрабатывается камень лишь для вида, на самом же деле ловкий студент продолжает работу донских казаков, которые испугались когда-то обвала, имеет, значит, грамату и знает место! Припоминали рассказы предков о раскопках, о зарытых Мамаем сокровищах, о золотой статуе. Говорили даже об одиннадцати ступенях лестницы, о бочках золота, о драгоценностях...

Студент посмеивался над их легковерием и, зарабатывая деньги на камне, развивал работы, отыскивал новые ямы и бросал те, разработка которых становилась трудной. Иногда все же и сам он призадумывался, рассматривая странное порой залегание камня: «как могла природа создать такое удивительное явление?»

Несколько раз посетил каменный карьер и Хассимов, как обычно — деловитый, серьезный. Он внимательно осматривал работы, радовался успехам техника, интересовался распорядками. Не пропустил он ни одной ямы, откуда добывался камень, спускался сам во все, расспрашивал...

— Удивительная штука! — задумчиво говорил он, приехав как-то осенью на подводе за камнем: — Много видел я карьеров на своем веку, а такой, как ваш, встречаю впервые... Кладка, как будто, только без раствора... Но на какой шут он здесь? Как в Баскунчаке, пожалуй. Там Большое Богдо из земли выперло, оно тоже как будто сложено! Говорят, подземные силы его вытолкнули. Может — и здесь, да сил у земли не хватило, у поверхности камень и остался... А люди говорят: клады... Нет, тут клада быть не должно

— Я в этом уверен. Болтают глупости от нечего делать. А как вы находите карьер?

— Пока постройка идет — первый сорт. Загребайте деньги лопатой. Кончится постройка — грош ему цена! Не засиживайтесь здесь, Василь Васильич! Заработали, — выходите из этого дела, да кончайте ученье. «Пожевалъ — да и за щеку!» В России без плевка на фуражке, да без значка на груди — все пути заказаны.

— Сам подумываю. Подвернется хороший покупатель, долго мешкать не стану.

— И правильно.... Да вот еще что... Расчет мне пожалуйте. Уезжаю на Волгу, постройка там, пи-

шут, начинается, — поспешать и мне надо маленько.

— Бросите Эльтон?

— Нечего тут делать! Годков через десяток-другой степь, может, и начнет развиваться, а пока что — одна мертвечина.

— А клады ваши?.. Оставили? И про кубышку забыли?

— Хорошенького понемножку. Толку мало, а у меня дома семья. Ей пить-есть надо. Вот и уезжаю в Россию.

— Жаль, да что поделать... Кстати, кони вам теперь не нужны, везти на них золотую женщину да бочонки с золотом не придется, так продайте их мне. Здесь для подвозки камня, воды, они пригодятся.

— Спасибо, да я возьму их с собой. Цена здесь грошевая, доеду лучше до дому на своей паре, на Волге и продам, коль цены поднимутся... А кони добрые.

— На нет и суда нет!

Под дождем уехал Хассимов на станцию, получил расчет и покинул Эльтон. Разъехались и почти все остальные, не выдержали каспийского проливня; работы же в карьере продолжались, — заготовляли спешно камень, чтобы вывозить его на постройку, как только земля подмерзнет и установится прочная санная дорога.

XXIII

— Субботник к вам, Василий Васильевич! — послышался как то утром в конторе голос Ефима через стекло окна.

— Пусть входит! Чего же вы, Ржаной, медлили? на дожде мокли? Ишь, льет, как из ведра!

Зипун Ржаного из домотканной шерстяной пряжи, с большим башлыком, откинутым на спину, набух от дождя, топорщился, как деревянный. Молоканин ехал, видно, издалека, промок до костей, был весь грязный, забрызганный.

— Снимайте зипун, садитесь к печке. Видите, какой огонь, у нас щепы хоть отбавляй, не то, что ваш кизяк!

— Да... Только мне не с руки, греться-то! Хуже будет, согретому. Да мы к дождю привычны.

— Привыкнешь к нему! Каждый день, как по заказу!

— Морозец завернет — дождику крышка. Да я к вам, господин техник, на минутку: дельце у меня есть. По поводу барашков.. Не возьмете ли у меня десятка три, четыре? Для ваших рабочих в карьере, а то и для станции? За ценой не постою: ухожу на зимовку, так облегчить хотелось бы стадо... По целковому с головы. Дешево?.. Понятно, да линия такая подошла.

С баранами быстро покончили, молоканин же не

спешил уходить, стоял у круглой печки, раздумывал. Огонь от смолистой щепы гудел в новом чистом дымоходе; от промоченной одежды Ржаного шел пар. Удивился Зорин, поймав на себе странный, пронизывающий взгляд молоканина.

— В чем дело, Ржаной? Почему вы на меня так смотрите? Дело какое, или нездоровы?

— Хотел спросить, да позабыл... Хассимов где теперь?

— Не знаю. На Волге где-нибудь. Он взял расчет. Очевидно, на другой работе теперь.

— Так... А когда он уехал?

— Месяца два тому назад. Должен вам остался, что-ли?

— Вы не поручали ему искать воду? Недавно, скажем?

— Как-же я мог поручать, когда он рассчитался? Забрал пожитки и ушел... Да что вы так на меня уставились?

Глубоко сидящие глаза морщинистого лица пастуха блестели лихорадочным огнем, хотели, казалось, пронзить Зорина. Ржаной подошел к столу — глаза его враз потухли, лицо изменилось.

— Забыл еще сказать вам. Инструмент ваш я подобрал в степи. Ребята ваши обронили, а вам, гляди, отвечать придется. Со мной он, сейчас принесу.

Через минуту молоканин вернулся с металлической штангой в руках.

— Вот он, а то вам платить надо-ть!

Зорин взял штангу, длиной почти в свой рост, посмотрел, протянул обратно пастуху.

— Не наш он. Даже не знаю — что это... Бурав?.. Не бурав — винта на конце у него нет. Зонд для шурфов? Не похоже. Для чего он?.. Да что вы так смотрите? Больны, что-ли?

Тот все не спускал с техника пронизывающих глаз.

— Не ваш? — ответил он, наконец, придушенным голосом. — Хорошо помните? Может, воду искать?

— Такой штукой воды не сыщешь. И нам она теперь ни к чему. Храните себе на память вашу находку. Да держите ее поосторожнее. Концом вниз, говорят вам!.. Глаз может мне выколоть, а то и убить!

Зорин отвел в сторону длинный непонятный инструмент из прута шестигранной буровой стали: он был уширен и заострен на одном конце, на другом же — расплющен и завернут на огне в виде широкой петли с ручным деревянным стержнем из крепкой породы, наподобие рукоятки бурава для сверления бревен. Дерево рукоятки отполировалось от долгой службы, блестело.

— Не ваш инструмент, Василий Васильевич? — Субботник поставил штангу острым концом на пол.

— Не наш. Храните его себе на здоровье.

— Так, так, — пастух раздумывал, колебался. — Выходит, — наконец, решился он, — вы не посылали Хассимова воду искать?

— Посылал, когда он служил и когда нам нужна была вода. А как он ушел со службы, больше двух месяцев назад, понятно — нет. Да он и уехал с по-

житками и конями. Продать их тут не захотел: цена, говорил, мала. А что до воды, ее хоть отбавляй, — видали, какой у нас пруд? Не хуже монгольского на Торгуне.

— Домой, говорите, поехал? А я его видел недели две назад. И шалаш его видел в степи, и лошадей.

— Хассимова? Вы бредите! Чего ему там надо?

— Воду для вас, сказал мне, ищет... Он и обронил, думается мне, инструмент этот. Он и кибитку купил у киргизов, — в становище и стояла она, и кони его там. Я был у него.

— Что он там делал? А этот инструмент? Зачем он ему? Щуп, разве? Неужели он продолжает поиски, за кладом Мамая гонится? Работать надо, а не глупостями заниматься! По моему, Хассимов где-нибудь на Волге, в Казани или в Саратове... Что вы хотите мне еще сказать? Говорите прямо: почему вы все виляете?

— Не серчайте, Василий Васильевич. Греха таить нечего, думал я, что вы вместе с Хассимовым за кубышкой гоняетесь, да вижу, ошибся, — на себя одного он, значит, работал.

— С ума вы сошли, Ржаной! О кубышке заговорили? О той, что-ли, которую Вшивый Дед, будто бы, затерял? Так? Полно вам глупостями голову себе забивать! А еще серьезный человек, старообрядец, богатый!

— Не глупости, Василий Васильевич! — Голос пастуха был серьезный, печальный; вид сумрачный,

глубокие морщины прорезали еще глубже лоб и щеки. — Хассимова, говорю вам, я сам видел тому две недели в балке, верстах в двадцати отсюда. — «Ищешь?» — спрашиваю. «Воду для станции ищу» — отвечает. Я и думал, что для вас, на будущее лето... Он и затерял инструмент, а, может, и сам бросил; ему он больше не нужен. И не один инструмент... Вы такую штуку видели? — из-за пазухи он вытащил холщевую тряпку, развернул и подал студенту круглую зеленую чашку, необычной формы, с кусками зеленой же толстой проволоки на ней.

— Что это? — Зорин рассматривал поданную ему вещь, слегка похожую на тарелку, угловатую, с фигурой вверху, темную. позеленевшую, с остатками прилипшей к ней здесь и там земли.

— Она или бронзовая, или медная, — говорил студент, — дракон или китайская собака со страшной головой. И эта удивительная проволока... Она тоже медная, квадратная, неровная, очевидно — ручной работы... Что это? Китайское, пожалуй?

— Это? — пастух снова уставился на него: — Не понимаете? Крышка с кубышки Вшивого Деда! Вот что! — громко воскликнул он.

— Что вы выдумываете, Ржаной? Как это может быть?

— Выдумываю? А это что?

Он быстро вынул из кармана монету, протянул ее. С первого взгляда было видно, что она золотая, старинной, своеобразной чеканки. Зорин рассматривал

ее, пытался прочест выбитую надпись, разобрать рисунок, — все на ней было ему непонятно.

— Золотая, — говорил он, поворачивая ее на ладони: — Сколько она стоит, не знаю, но, очевидно, старинная. Чеканка, как будто, арабская или персидская — прочесть трудно. Откуда она у вас?

— Откуда? — пастух презрительно улыбнулся: — Эх вы, Василий Васильевич! За Мамаевым кладом гонитесь, а кубышка деда у вас из под носа и ушла. Унес ее Хассимов. Ни с кем и не поделился! А вы думали, он домой поехал? Здесь-то, на Эльтоне, зачем он два года маячил, татарин проклятый? Может, он и дома теперь, да не один, а с кубышкой! А в ней пять тысяч монет, таких же, как эта, да три жемчужных ожерелья... Спешил он, надо понимать, когда кубышку нащупал, — крышку сбил, обронил и не поднял. Монету — и то потерял второпях. Я подобрал ее вчера и инструмент нашел, которым татарин землю щупал, видел и место, куда дед кубышку заховал, да никому потом не сказывал... Быть-то она была, кубышка Вшивого Деда, а вот теперь ее нету! У Хассимова, говорю вам, она теперь, а куда он поехал, не знаю... Да от меня он не скроется, — на дне моря сыщу!

Пастух преобразился, — обычная сдержанность его пропала, злость, решительность звучали в каждом слове.

— Да вы-то при чем, Ржаной? — удивился Зорин, не узнавая обычно степенного молоканина: — Если даже Хассимов и нашел что-нибудь, какое же ему до

вас дело? Делиться с вами должен? Узнает правительство — отберет от него эти монеты, а самого его — в тюрьму! Скрыть такой клад невозможно, монеты не царские, не десятирублевки. Таких — мало, слух разнесется быстро. Вот уж и сейчас: вы знаете да я знаю — секрет сохранить невозможно.

— Что об этом заботиться? О завтрашнем дне завтра и будем печалиться. Он должен со мной поделиться. На этой кубышке я пянадцать лет сидел, верил в нее больше, чем в свою душу. Слышите вы? Пятнадцать лет жизни отдал, за Вшивым Дедом, как за отцом родным, смотрел, и все — кошке под хвост? Татарин приехал за Мамаевым кладом, а пронюхал про кубышку и упер ее. У меня из под носа. Совсем ведь близко был я от нее... И все — ему одному? Не бывать тому, говорю вам! Кишки из него выпущу, хоть и блохи не убил в своей жизни... Нашел он — спора нет, но я знал о ней раньше; всю жизнь верил в нее.

— Ваше, милый мой, дело... Знать ничего не хочу, ведать не ведаю. Берегите свою монету, забирайте инструмент и скатертью дорога! Делитесь, как хотите, если и вы соскучились по тюрьме. Так-то... Этой-то штукой, по-вашему, он и нашел ее? — заинтересовался снова Зорин, рассматривая стальной прут с ручкой: — Ловкий же парень! Понимаю теперь для чего он его сделал и как искал. При его силе и тяжести, он мог прощупать почву в любом месте на метр, полтора! Молодец Хассимов! Придумал ловко да и поработал, видно, не мало, — конец даже

сносился, а дерево как полированное... А клад Мамая он, по вашему, бросил?

— Василий Васильевич? Куда он мог поехать? — пастух был занят своими мыслями: — Он вам не говорил, куда собирался? Где станет он переливать монеты, клад замывать? Расплавлять их будет или так продаст?

— Вам-то, Ржаной, какое до этого дело? Каждый из вас искал для себя. Ему удалось — его счастье или несчастье, как говорил Вшивый Дед, я уж и не знаю! А вам на память: инструмент да крышка от кубышки. Гляди, монету-то он сам и оставил вам в подарок, шутник он был здоровый.

— Со мной шутки плохи, господин техник! — вспылил вдруг пастух: — Не со мной пошутил, а с жизнью моей. Пятнадцать лет, говорю вам, сидел я на этой кубышке. Не жил, а мучился. По ночам не спал, по балкам шарил, искал, куда дед ее спрятал. Скот свой с голоду загубил, — ведь на Эльтоне летом кормиться ему нечем. Не должен, говорите, делиться? Должен! Сам-же предлагал мне работать из-половины. Помните, при вас же было?

— Слышал, да вы не соглашались.

— Не соглашался!.. Я раздумывал, не говорил ни да, ни нет. Значит, делиться должен. Ну, не пополам, так пусть хоть треть даст! На меньше — я не пойду. Слышите? Пропадай все пропадом, а не пойду!

— С ума, Ржаной, вы спятили? Не потому ли и

скот начали продавать? Зачем отдали нам баранов, да по такой дешевой цене?

— А вы думали, почему? Все стадо разбазарю по дороге, лошади и бараны по чем зря пойдут, а на Волгу один приду! Со свободными руками, чтобы Хассимова скорее найти. Под землю скроется татарин, свиное ухо, и там его откопаю.

Не простясь, субботник резко повернулся, вышел из конторы.

Удивила Зорина эта история, да не так он ей и поверил... Кроме стального щупа, золотой монеты неизвестного происхождения да какой-то позеленевшей бронзовой крышки, ведь никакого прямого доказательства у пастуха-неудачника или фантазера и не было.

XXIV

Удалось как-то Зорину вытащить и Кузьмича с супругой на разработку камня — кстати и серым бездельникам не мешало пробежаться. Промчавшись, как угорелая, первые пять верст, Степановна позволила лошадям пройтись, отдохнуть, но к карьеру подлетела на полных рысях, — пусть люди видят, как ездит начальство!

Разработкой карьера она не интересовалась — не барское это дело, занятие не для инженера, будущего начальника, а для какого-нибудь торгаша или проходимца Хассимова!

— Нашли тоже дело: камни ломать! Научил вас хорошему этот паскуда-татарин. Я всегда говорила, что он за птица, — и Степановна уплыла сейчас же в теплушку к семейным рабочим с бабами посудачить, ребятишек побаловать.

Кузьмич внимательно осмотрел работы, хотя и не спускался в ямы, — форменную одежду побаивался запачкать и за свои высокие, ярко вычищенные сапоги опасался; к чему излишнее домашнее осложнение...

— Странно, очень странно! — повторял он, рассматривая сверху пласты залеганий, — никогда не встречал я такого явления. Вот там, как будто, следы раствора... Глина, думаете? не раствор? прослой-

ки, или сложено на глине? На кладку, дорогой, смахивает, на примитивную, циклопическую...

— Ведь камни не обтесаны, Кузьмич! И кто стал бы здесь строиться? в голой пустыне?

— Верно, но камни, сознайтесь, удивительные... Особенно эти... Как они сюда попали? Это не известняк, а песчаник. Разве силой вулканических причин? Или это старинный город? Кто знает, что тут было раньше? Жили здесь когда-то кимвры, половцы, сарматы, Бог знает — еще кто. Были ли они кочевниками, как их победители-кипчаки, а потом монголы, или же строили города, как хозары, булгары..

— Кому нужна такая постройка? Один фундамент, на поверхности же гладкое место!

— Я не археолог и в старине мало что смыслю... А все же, лучше бы вам подальше от этого, особенно теперь, когда деньжат вам за глаза хватит и постройка линии, собственно, кончена... Пора и в Петербург... Степановна-то, видно, права: не наше это с вами дело — камень добывать, торгашами заделаться!

Зорин и сам подумывал о продолжении занятий в Институте, да жалко было бросить дело: каменный карьер работал отлично, обороты увеличивались... Бывали, понятно, и осложнения, иногда курьезные.

Прискакал как-то верховой из карьера — просили хозяина немедленно приехать. В чем дело? Яма обвалилась? драка? несчастный случай?.. Оказалось другое. Штабеля готового для отправки камня были

переполнены... змеями! Гады эти заполнили рано утром ямы, расщелины, трещины в карьере — подойти нельзя! Отовсюду — змеиные головы, пасти раскрыты, раздвоенные языки, змеи извиваются, шипят, грозят... Били их палками, ломами, кирками... Истребляли гадов целый день, забыв о работе, истребили тысячи, завалили целую яму трупами змей всяких окрасок и размеров...

На следующий день оставшиеся змеи, — количество их было невероятное, не уничтожили и половины, — покинули карьер и больше не возвращались. Зорин думал, что змеи искали тепла в камнях, пригретых осенним солнцем. Рабочие из русских сомнительно покачивали головами: «а почему в день такого-то святого?» Степняки же верили, скорее киргизам: змеи-де стерегли клад и хотели припугнуть людей, как те же злые духи Танги напугали когда-то казаков обвалом камня. Поэтому киргизы советовали позвать шамана, снять заговор.

Случилось затем нечто и посерьезнее. Когда Зорин прискакал, и на этот раз по срочному вызову, в конце осени, работы в карьере были остановлены, брошены. Киргизы, русские, сбившись в кучу у одной глубокой ямы, кричали, жестикулировали. Чуть не все обитатели поселенья — там же: ребятишки русские, киргизские, возчики и их жены, собаки, даже верблюды.

— Лестница! — кричали Зорину еще издали: — Лестницу откопали!

Гурьбой они подвели его к яме. Там, на глубине

восьми приблизительно метров, открывалось нечто странное: ровными уступами, обрезанными с края, как бы порожками, лежали каменные плиты одинаковой толщины, точь в точь ступеньки лестницы.

«Что такое?» — дивился Зорин про себя, — «плиты или порожки?»

— Это плиты! — успокаивал он толпу, опускаясь на дно ямы, где человек пять рабочих, почти нагишом, поспешно углубляли, очищали яму.

— Десять ступеней прошли! — радостно кричали они, размахивая ломами, кирками: — Одиннадцатую, а дальше будет плита!

— Бросьте глупости! — а сам похолодел от изумления.

— А грамата? Одиннадцать ступеней, потом плита и на ней надпись! От дедов, от отцов слышали. До плиты, а потом и до клада!

Не знал Зорин, что и делать... Остановить работу? Не послушают... Прогонят, может — и того хуже! Вспомнилась вдруг прошлогодняя история с одеколоном...

А те работали, как исступленные, не боясь ни смерти, ни обвала. Ломами, лопатами — внизу; другие, наверху, вытаскивали ведрами раздробленную породу, помогали кто чем, кто как... Где тут сменяться, отдыхать! Еле живые от усталости, работали, поощряли друг друга, забыв о всем на свете. Местами в щебне попадались кусочки металла, исковерканные, позеленевшие, — они сейчас же исчезали за пазухами, в карманах...

Через какой-нибудь час усиленной работы в глубине, после одиннадцатой ступени, и в самом деле показалась плита!

— Насечки! — кричали сверху.

На поверхности плиты виднелись вырубленные в камне следы от знаков или букв, большинство которых было сбито при работе ломами и кирками и растаскано по карманам, как металл драгоценный. К полудню освободили и плиту, больших размеров, со следами насечек на ней и остатками металлических знаков.

«Что делать?» — раздумывал Зорин: — «Уехать? телеграфировать, заявить?.. Не выпустят, остановят!»

Попытки сдвинуть плиту ломами, пошевелить ее — были безуспешны...

— Рвать! — кричали кругом: — Пробурить дыры, да зелья!

— Братцы! Клад Мамая нашли! — вопили голоса. Забыли об усталости, об еде, об отдыхе... В головах у всех были лишь мысли о золоте, о драгоценностях, которые должны были сейчас увидеть свет, обогатить, улучшить жизнь каждого. Радость, ликование на всех лицах, торжество. Обнимались, кружились, как помешанные. Бросали шапки вверх, киргизы хлопали себя ладонями по коленям, приседали со смеху, становясь на корточки, катались по земле.... Двое пожилых из них объясняли через хуторянина, что надо немедленно послать за шаманом; хотели даже скакать сами, лишь бы поскорее его привезти....

Хотя киргизы и — мусульмане, но большинство сохранило веру предков, а не ту, в какую заставил перейти Тамерлан, разгромив их ханство в России. Во главе всего мира, по убеждению киргизов, стоит Танги, который создал все, что существует, а в его распоряжении — духи, добрые и злые; к ним, в случае надобности, и следует обращаться через посредство шамана, например — чтобы снять заговор наложенный когда-то. В степях как раз был такой шаман. Киргизы были уверены, что клад заговорен, заклят по приказанию самого Мамая, чтобы другие не воспользовались им, — поэтому они и не пытались отыскивать его. Русские же — объясняли киргизы — в Танги не верят и не раз хотели найти этот клад, руководствуясь полученной откуда-то граматой. Но сделать это — невозможно, не сняв предварительно заговора. Оттого-то и случилось несчастье: яма обвалилась, задавив казаков. Да и змей в карьер, еще так недавно, наслали те же духи — чтобы напугать людей, остановить работы... Без хорошего шамана ничего не добьешься! И заговор этот — старинный, трудный, шамана надо хорошего...

Русские молодые рабочие отмахивались, в заговоры они не верили и кричали, что обойдутся и без шамана, только бы не медлить. Хуторяне же и русские постарше колебались...

Но всего громче раздавались голоса:

— Шамана! Позвать шамана!

— Зачем нам шаман? К чорту шамана! И без него управимся! Давай бурить! — упорствовали бо-

лее горячие, молодые, хватали буры, лезли в яму.

— Стойте, черти! Клад достать — не блоху поймать!

— Круг! Собирайте круг! — разносилось по карьеру: — Помозговать надо!

«Про меня, видно, забыли», — обрадовался Зорин. — «На лошадь, да на станцию!» Он стал пробираться к штабелям, где был привязан его верховой «Киргиз».

— Хозяин! Василий Васильевич! — послышалось из толпы. — Куда же вы? Без вас никак не можно!

«Чтоб вам ни дна, ни покрышки!» — подумал Зорин и присел рядом на крупный камень; своего коня он увидел уже без седла, далеко в степи, — ребята успели принять меры, чтобы задержать хозяина в почетном плену.

— Круг решил послать за шаманом, Василий Васильевич, — пояснил пожилой хуторянин, — хуже от этого не будет. Маслом каши не испортишь. Придется только вам обождать малость, ребята за лошадьми побежали, шамана враз привезут.

Зорин не отвечал, раздумывал. «Если клада нет — все обойдется. Потеряют день, потом все пойдет опять по старому, хоть надолго ли? А если клад?.. Удалось бы уехать — мое дело сторона: знать не знаю, ведать не ведаю! Но сейчас? Заставят ведь и меня взять какую-то часть... Что с ней делать? Сами же разболтают секрет... Перепьются, станут хвастать, через два дня все кругом Эльтона будут знать, а слух отсюда перенесется и на Волгу... поли-

ция, суд.... Не взять? Принудят! Разозлишь этих дикарей — убьют!»

— Вот еще что круг порешил, — хуторянин не дождался его ответа, — вам половину! Жирно, а правильно: ваша трамата, место вы нашли, за работу вы уплачивали, камнем глаза начальству запорошили — ваша половина. Только что делать-то с ним будете? Там ведь золота — возы!

— И думать не хочу, в клад я не верю.

— Верь, не верь, а оно так... Ну, золото, должно быть, в боченках, — увезти его не трудно, а вот остальное?

— О чем, земляк, заботитесь? Узнают — в тюрьме и насидитесь!

— Кому узнавать-то?

— Полиции.

— Эх-ма! Мы что ж, махонькие? Думаешь, монетами да убранством торговать станем? Как бы не так! В Астрахани, брат, лавчонка есть; огонек через трубочку подуют — ан тебе ни монет, ни убранства, а кусочек золота, и на нем ни метки, ни клейма!

— Делайте, как знаете, а я не при чем!

Зорин встал и пошел бродить по ямам карьера, подошел и к «заговоренной». Одиннадцать необработанных плит, или ступеней, лежали уступами, метрах в восьми от поверхности. Одиннадцатая опиралась на огромную плиту, которую человек пять русских и киргизов тщательно очищали. Спустился в яму и Зорин. Камень ступеней — не туф и не песчаник, а скорее известняк, похож на необработан-

ный мрамор. Следов инструмента не видно, края ступеней выщерблены, возможно — ломами и кирками при раскопке. Нижняя плита — огромная, монолитная, с гладкой поверхностью, длиной почти в три аршина, по ширине наполовину меньше. На ней следы вычеканенных на поверхности металлических знаков...

— Золото, хозяин? — молодой парень выбивал зубилом остатки насечки.

— Понятно, нет. Видишь, позеленело: медь или бронза!

— Без цены, значит?

— Грош ей цена в базарный день! А где ж остальное?

— Повыбрали, поунесли, — теперь, гляди, и побросали...

По форме следов вбитых в камень насечек и по кусочкам, оставшегося в камне, металла — арабское или китайское письмо. «Испортили, черти! — выругался про себя Зорин, жалея, что не догадался раньше сделать рисунка.

— Насечки, шут с ними! — парень выбросил из ямы кусок позеленевшего металла для любителей: — а вот тут что? — стукнул он ногой по плите.

Ничего не ответил Зорин и стал выкарабкиваться из ямы; щебень и камень, осыпаясь с боков, скатывались вниз: — Смотрите, ребята, не засыпало бы вас самих!

— Не бойся! Мы не казаки! Да и бока отлогие. А коль и прихватит кого — на миру и смерть красна.

Часа через два на горизонте показались всадники. Толпа оживилась еще больше, горела от нетерпения... «Шаман! Везут! Заговор снимет!» — бежали навстречу, ликовали.

Старый, престарый киргиз — тощая седая борода, плетка в руке — слез с лошади и заковылял с провожатыми к яме. Он облачился в ритуальный, несложный костюм: кожаные петли с бубенцами на ноги и на запястья, кожаный, прошитый, как богатая лошадиная сбруя, широкий пояс, и огромная меховая шапка с лисьим хвостом, унизанная колокольчиками.

— Не стыдно вам верить в такую чепуху? — не удержался Зорин, обращаясь к тому же пожилому хуторянину.

— Круг постановил, что ж тут разговаривать? Да хуже от того не станет!

Шаман в полном облачении лежал теперь пластом на песке около ямы, широко раскинув руки, как бы обнимая землю. Все вокруг замерли, притихли даже дети... Пролежав минуты две, он сел, сложив ноги, как Будда, и вновь застыл, сосредоточенно смотря вниз. Затем медленно, с трудом поднялся и заковылял вокруг ямы, бормоча что-то и потряхивая ногами, руками, головой. Бубенцы, колокольчики позванивали; все стояли молча, не шевелясь, а он ходил вокруг ямы и все сильней ударял себя в грудь кулаками и тряс головой. После нескольких кругов шаман остановился лицом к востоку, задрожал всем телом — колокольчики, бубенцы зазвучали еще гром-

че, выпрямился во весь рост, сложил руки рупором и завыл громко, протяжно:

— Уу-Уу-Уу!

Приложив руки к ушам, он прислушивался, вглядывался в степную даль направо, налево... Присутствовавшие не пропускали ни звука, ни движения, казалось — не дышали.

— У-у-у! — донесся ответный, отдаленный вой откуда-то, похожий на волчий.

— Уу-Уу-Уу! — завыл шаман с новой силой, завыл громче прежнего, как бы ободренный ответом и, бросившись ничком на землю, прижался лбом снова к песку, застыв в ожидании.

Все притаились, замерли...

— У-у-у! — донесся, наконец, ответный вой, но совсем тихий, еле слышный...

Шаман приподнялся с земли, с трудом встал, зазвенел бубенцами.

— Уу-Уу-Уу! — выл оно снова, выл долго, изо всех сил, — но ответа больше не последовало.

«Комедия? чревовещатель?» — недоумевал Зорин.

Не получив ответа, шаман вновь приложился к земле, встал, подпрыгнул на месте два-три раза и стал снимать облачение — сеанс окончился.

Киргизы, хуторяне, облепили его, распрашивали.

— Снял?.. Снял заговор? — спешили узнать те, кто стоял дальше или не понимал по киргизски.

— Поздно, говорит... Джины перенесли клад, — пояснил Зорину хуторянин, не покидавший его ни на шаг: — Проворонили, выходит!

— Джины — у магометан, у шаманистов их, как будто, нет! — усмехнулся Зорин, все же не понимая, кто это выл в ответ, — ведь этот вой он слышал сам, да и все остальные слышали...

— Вот что, хозяин! — к Зорину подошел другой хуторянин, живший где-то в глубине степи и хорошо говоривший по киргизски. Он вышел с двумя другими русскими и двумя пожилыми киргизами, из толпы рабочих; перед тем они долго совещались. Ясно было, что это выборные и что говорят они от лица всех: — Уговор лучше денег. По нашим степным законам: первое — молчок, второе — делить по-божески! Вот как круг порешил: тебе — половина. Идет?.. Тогда по рукам, будем рвать плиту!

— Никакого клада там нет... Зря теряете время!

— Есть ли, нет ли — там видно будет. А зубы скалить нечего. Дело серьезное! — выборные уставились на него, не спускали глаз... «Вот они, потомки Пугачева, яицких казаков, Хлопуши-Рваная Ноздря», — мелькнуло в голове Зорина.

— В клады я не верю, мне никакой доли не надо! И не забывайте, все принадлежит казне. Если и будет что найдено, надо заявить, отдать...

— Отдать?.. Что говоришь-то? — загалдели русские, им вторили и киргизы, вряд ли понимая, в чем дело: — Казна зарывала его, что-ли? Казна, по твоему, руки себе мозолила? не пила, не ела? под дождями, как мы, мокла?.. Подумай, что говоришь-то?

— Делайте, как хотите... Я тут ни при чем!

— Так-то оно лучше. Только заруби себе на но-

су: язык проглоти. А мы тебя не обидим... Ну, братцы, начинай скважину! Живо!

Только этого, казалось, и ждала толпа, на работу набросились, как звери на добычу. Просверлили в плите дыры, набили их зарядами «зелья», протянули шнуры для зажиганья, вставили крепкие пробки из глины и пакли и — взорвали. Но когда приподняли куски разломанной плиты — все ахнули: радость, надежды, ожидания исчезли, как дым. Под плитой оказался песок. Ничего другого! Кое-кто старался копать глубже, с опасностью для жизни, — но и глубже был тот же песок.

— Шамана бы раньше позвать, — качали головами киргизы, — духи перенесли клад Мамая в другое место...

Русские склонялись к тому же.

Студент вздохнул свободнее. В каком положении оказался бы он, если бы нашелся клад? Не богатство, а тюрьма? В случае же отказа от дележа — и того хуже.

«Надо выходить из этого дела во что бы то ни стало», решил он по дороге на станцию, «клад ли Мамая, другое ли что, но там что-то есть. Мне это не подходит!» И ему вспомнились слова Вшивого Деда о золоте, о богатстве и о том, что дают они человеку...

XXV

Оформить сделку по продаже карьера надо было в Астрахани: переписать на имя покупателя разрешение на разработку камня и получить деньги за проданный карьер, за имущество.

Простившись со своим бывшим начальником, со Степановной и сотрудниками по Эльтону, Зорин выехал спешно на Владимирскую пристань на Волге, доплыл пароходом до Астрахани, надеясь подняться затем по воде, до закрытия навигации, и до Саратова, а оттуда прямым путем — в Петербург.

Поездка на пароходе по Волге — одно из величайших наслаждений. Воздух, комфорт, оживление на пристанях, беспрерывная смена пейзажей, таких разнообразных и различных на восточном и западном берегу! А встречи с пароходами, вверх и вниз по Волге, с огромными белянами от верховьев Камы, которые от весны еще задержались, нагруженные досками, бревнами, домами и целыми деревнями, поселениями! Приятнее лишь такое же путешествие, но весной, — во время чудесной погоды, когда вода на Волге высокая и навигация свободна, когда сторожевому на носу парохода не приходится беспрестанно мерить шестом глубину и выкрикивать: «Шесть, пять, пять с половиной»... и когда природа жадно спешит насладиться благотворным теплом после продолжительного зимнего сна...

Формальности в Астрахани оказались недолгие, в один день все было окончено и деньги за карьер получены. Молодой студент, бывший практикант астраханской дороги, приехавший на озеро Эльтон два с половиной года назад без копейки, стал по тому времени не только человеком состоятельным, но и богатым. Правда, богатство это, как и предупреждал Вшивый Дед, оказалось непрочным... Заклинания и заговоры шаманов за семь веков не потеряли, видно, силы!

По завершении сделки, как полагалось тогда в России, надо было поставить «магарыч» покупателям, людям состоятельным, т. е. повезти их ужинать в «Отрадное», увеселительное заведение в Астрахани тех дней. Никогда раньше студенту не доводилось бывать в кафе-шантанах, не ожидал он и того блеска и веселья, какие увидел в «Отрадном», — он не различал мишуры от подлинного изящества, поддельного веселья от настоящего. Озадачило его и количество зрителей, русских и азиатов, да удивил его и сам спектакль после каспийских степей и захолустья Эльтона.

Публика в зале сидела за небольшими столиками, компаниями, пила и ела. Зрители разговаривали, смотрели на сцену, где выступали артисты, ученые собаки, жонглеры и, главное, пели, декламировали, танцовали женщины, более или менее раздетые. Когда на сцене появился женский хор в национальных костюмах, русских, украинских, польских и еще каких-то, студент не мог оторвать глаз от красавицы-

брюнетки в черкесском наряде. Она стояла в первом ряду, и весь зал любовался ею, только для нее, казалось, публика и собралась.

— Кабинет! — скомандовали покупатели карьера и тут же поднялись во второй этаж. Публика в зале мешала им, оказалось, вести деловые разговоры.

Отдельный кабинет имел два отделения: открытую ложу, откуда можно было смотреть на сцену, и что-то вроде салона-столовой, где уже ставили на стол всякие закуски, вина, водки. В одном углу стояла тахта, накрытая поддельным восточным ковром с подозрительными пятнами, и стенное зеркало, почти допола, позволявшее видеть себя и с тахты: его рама, когда-то вызолоченная, была засижена мухами, с царапинами во всех направлениях; само зеркало покрывали нескромные надписи, имена, сердца, пронзенные стрелами....

Студент смотрел на сцену, любовался артистами, дрессированными фокстерьерами. Хорошенькая певичка-француженка то и дело сбивалась, грозила пальчиком дирижеру оркестра и забавно конфузилась. Под смех публики, она вновь начинала тот же куплет и, быть может, нарочно, опять забывала слова, мотив и мило смеялась... Но черкешенка не выходила из головы Зорина. Приглашенные же им покупатели не интересовались ни залой, ни сценой; они погрузились в расчеты, говорили о делах, о будущих постройках и, видимо, забыли о хозяине вечера, студенте-продавце.

— Ефимовна, матушка! — один из них увидел у

открытой двери кабинета пожилую женщину в ярком платье, безмерно накрашенную, унизанную драгоценностями, конечно фальшивыми:

— Пожалуйте, голубушка, гостьей будете!

Та здоровалась, знакомилась, улыбалась, а глаза ее быстрые, хитрые, жадно перебегали от одного к другому, желали все узнать, оценить, не ошибиться.

— Давно не виделись, Иван Иванович! — говорила она одному из покупателей, своему знакомому. — Рада, очень рада! — она сладко улыбалась, пристально всех разглядывая: — Виделись в Саратове, — протяжно говорила она, как будто пела, — не большой вы до нас охотник. А молодого человека не имею удовольствия... Много потерял он, много! В его годы пора бы и о чем другом подумать, не все-ж о науках... Вы, господа, одни? Так не полагается, — она качала укоризненно головой со взбитыми волосами, длинные тяжелые серьги ее мотались из стороны в сторону: — Я подберу таких вам красоток — пальчики оближете!

Через минуту в кабинете появились новые лица — накрашенная дама оказалась содержательницей только что выступавшего женского хора. С двумя подругами, пришла и черкешенка, красота которой так пленила студента. Вблизи она теряла, была неразговорчива, конфузилась. Всего лишь третья неделя, оказалось, как она в хоре, петь еще не умела, и только для видимости открывала рот, но, по ее словам, учи-

лась петь от подруг. Держали ее для показа и про запас на будущее время. Черкешенкой же ее нарядили. чтобы подчеркнуть жгуче-южные черты ее лица, наследие персидское или турцкое, — родом же была она из под Царицына и о Кавказе не имела представления. Да и весь женский хор был, скорее, для вывески, — дело было не столько в пении, сколько в умении хористок угождать гостям, увеселять их, требовать закуски, напитки...

Кабинет неожиданно наполнился, — длинные, почти до пола, цветные платья с морем складок, яркие шелковые шали, иссиня-черные волосы, бархатные жилеты с толстыми часовыми цепочками, лакированные сапоги, широкие шаровары... Ряд смуглых женщин оцепил полукругом стол, за ними стали молодцы с черными, как угли глазами, с примазанными лоснящимися головами...

— Не вечерняя, да не вечерняя
Заря потухала...

— лилось красивое металлическое сопрано пожилой приземистой цыганки; его подхватил баритон молодого нахала восточного типа с блестящими зубами. Звуки неслись, переплетались, стремились на волю из тесного кабинета и вдруг сливались с голосами всего хора. Стены не выдержали, — представлялось студенту, — натиска звуков, и старинный цыганский романс, протяжный, мощный, полный тоски, понесся вдаль, в беспредельную степь Каспия, где

давно уже догорел вечерний свет, где заря погасла и загадочные тени покрыли ее бесконечный простор...

Зорин слушал, зачарованный. А кругом него мелькали длинные рубахи половых с широкими цветными поясами, хлопали пробки, появлялись на подносах рыба, цыплята, мороженое... Заказывали кто хотел, что и когда кому вздумается, командовали цыганки, хористки, какие-то незнакомые, все ели, пили, чокались, смеялись... — «Сколько же это будет стоить?» — беспокоился молодой хозяин, завидев шашлыки, ящик с шампанским... «Знать бы цену, сосчитать! Ведь я пригласил, а сколько со мной денег?»

— Как цветок душистый
Аромат разносит...

Красивый голос пожилой цыганки, улыбающиеся женские лица кругом, а перед ним — черкешенка с бокалом на подносе, она низко кланяется, краснеет, вновь кланяется...

— За здоровье Васи,
Васи дорогого!
А не выпьет Вася,
Мы найдем другого!

Как тут не выпить? — Выпьет!

— Полагается целовать, благодарить! — поучала его Ефимовна-матушка; она тут как тут, успела узнать уже, что студент этот — американской складки и какую уйму денег получил он сегодня утром.

Грянула плясовая; пожилая, усатая цыганка поплыла, играя станом, а с ней молоденькая, красивая. Они закружились по кабинету, где поспешно отодвинули стол в сторону: за ними, в очередь, как по расписанию, пошли и другие... Песни менялись, темп учащался, страсти разгорались, бокалы пенились... С молоденькой цыганкой танцовал теперь покупатель карьера, пожилой коммерсант из Саратова, молчаливый, угрюмый, в течение целого дня только и думавший о делах, о поставках. Без визитки, в жилете, потный, раскрасневшийся, с волосами на лоб и странной, как бы окаменелой улыбкой, он выделывал ногами замысловатые выкрутасы, гикая семенил вокруг цыганки, пытался пуститься в присядку. Ему хлопали, его поощряли, подносили ему чарочку, пили его здоровье... Он опрокидывал разом поднесенный бокал и снова плясал, плясал один, забыв о цыганке, терпеливо ожидавшей подарка... Остановившись на минуту, он положил ей на поднос кредитку в двадцать пять рублей, поспешно, не глядя, поцеловал цыганочку в щеку и вновь пустился в пляс, — а его толстая золотая цепь как будто отбивала такт на животе, растрепанные волосы с густой проседью прилипли ко лбу...

Эх распошел, тумра, сивый мой, пошел!
Эх распошел ты, хорошая моя...

XXVI

До отхода парохода вверх по Волге оставалось еще полтора дня, и то было сомнительно, пойдет-ли он, успеет-ли проскочить до Саратова, не прорежет ли его «сало» с Камы, дошедшие уже до Астрахани, — навигация со дня на день должна была закрыться.

В гостинице проснулся Зорин не один, — заботливая Ефимовна прикомандировала к нему черкешенку, не хотела, видно, оставить в Астрахани молодого человека одного, да надо было ему и город показать. Впрочем, смотреть там в те времена было нечего! Путеводителей тогда не водилось, историей широкая публика не интересовалась, хотя Астрахань, после двух с лишним лет пребыванья Зорина в степи, показалась ему огромной. Старинного — почти ни следа, хотя городу больше тысячи лет. Чахлый, запыленный губернаторский сад, ряды магазинов азиатского и европейского типа, плохие, пыльные мостовые, отвратительные извозчики... Но был «Универсальный Магазин Братьев Ганшер», многоэтажный, кричащий, размерами почти, как «Мюр и Мерилиз» в Москве.

Черкешенка, когда сняла кавказский костюм, оказалась простой русской девушкой, потерявшей голову от первой же сердечной драмы. По совету подруги, спасаясь от родительского гнева, она и нашла себе пристанище у содержательницы хора, начала карьеру «певицы»...

Обедали они на пароходе у пристани, откуда глазом было видно, что уровень Волги выше уровня самой Астрахани, защищенной от воды валами еще со времен персов. Волжские пароходы «Самолета», «Кавказа и Меркурия», «Общества по Волге» славились ресторанами, обслуживали не только своих пассажиров, но и состоятельных людей на остановках в прибрежных к Волге городах. Рестораны гордились поварами, бесчисленными рыбами, винами, готовили блюда французской кухни, шашлыки, всякие «специальности» Востока. Пассажирам приносили живых стерлядей, форелей, просили выбрать рыбу и пометить, сейчас-же варили, жарили... Подавали удивительную семгу, которая таяла во рту, икру мешечную, зернистую, паюсную...

Пароходы были огромные, плоскодонные, своеобразной конструкции, — такой, кажется, нигде в мире тогда не было. У некоторых, более старых, гребные колеса — по бокам, другие, поновее, винтовые: комфорт же на всех — изумительный.

Поздняя осень прохладна и в Астрахани; сало или мелкий, раздробленный лед с верховьев тянулся по Волге широкими полосами; обедали все же на палубе. На берегу — оживление, все спешили использовать конец навигации. Баржи с товаром, с провиантом, шаланды, пароходы, лодки жались к берегу во много рядов; повсюду работали лихорадочно, слышались крики, руготня на разных языках и наречиях... Рядом с рестораном в воздухе — изогнутая линия: то грузчики перебрасывали один другому с быстротой

необычайной осенние дыни с шаланды на берег. На соседней небольшой пристани во второй раз прогудел пароход — он шел на взморье, на «Двенадцатифутовый Рейд»...

— Прокатимся? — предложила мнимая черкешенка, она ничего и никого не знала в Астрахани и вне хора была, как потерянная.

По деревянным сходням они добежали до небольшого парохода, как раз перед его третьим гудком. Дельта Волги огромна. За сотни верст до Каспия река разбивается на множество рукавов, образуя бесчисленные острова, меняя, обычно — весною каждого года, фарватер, образуя новые протоки, мели, островки, унося в море целые площади...

Там — царство рыбы, птицы, комаров!.. Пароход останавливался у некоторых больших островов с рыбными промыслами, заводами. Там видны были русские, киргизы, калмыки. Сохранились кое-где и остатки прежних построек, старинных, никто не знал — от каких времен и народов: от хозар? или половцев? Никто над этим не задумывался. Могли там быть и остатки иранских сооружений: владели же когда-то персы всем Каспийским морем, ведь ими Астрахань и основана.

Население волжской дельты занималось преимущественно рыбной ловлей, и чего только ни ловили в этом огромном водном просторе — от самых дорогих сортов стерлядей, осетров, севрюги, до самой простой рыбы: сомов, белуги, селедки. Последняя — главное богатство дельты. Астраханская сельдь

не так нежна, как норвежская или крымская, но десятки миллионов людей кормятся ею зимой в России, десятки тысяч заняты ее ловлей и приготовлением. Ее солят, вялят на солнце, делают из нее «тарань» (вроде бразильского «хаддока») — не боится она тогда ни времени, ни червей.

На пристанях промыслов — повсюду женщины-«резалки», одетые, как мужчины: в штанах, с ножами за поясом.

Ты моряк, а я резалка,
Ты уедешь, а мне жалко!

— разносился далеко по водному раздолью мелодичный чистый голос, примитивный напев частушки еще долгое время сопровождал пароход. От огромных деревянных чанов шел вослед тяжелый удушливый запах, — их чистили перед тем, как наполнять свежим соленым раствором. Повсюду кипела работа, тут рыба кормила всех.

«Вот он — клад, про который говорил Вшивый Дед!» подумал Зорин: «Его и искать не надо, клад этот, не надо и прятаться с ним! Протянул руку и взял, природа нас им наградила!»

Он смотрел на водный простор, по которому скользил небольшой их пароходик, равномерно шлепая по воде лопатками колес. «Вот он и другой клад России, которым живет чуть не половина огромной страны: «Волга, Волга, мать родная!» Ее водами пользуются, ими живут люди чуть

не на протяжении четырех тысяч верст, орошает она со своими притоками такое количество родной земли, что мало бы осталось от ее сельского хозяйства, от сказочного ее плодородия, если бы Волга вдруг да исчезла.

Вот он — и третий клад! Сама природа русская, ширина горизонта, чистый воздух родной, резкие переходы от тепла к холоду. Не легко переносить их, но какую роль сыграли они в укладе всего русского человека! Способность его переносить горести и невзгоды, переходы от доброты беспредельной к яростному гневу. «Да, и это!» Зорин хлопнул рукой по своей широкой грудной клетке, — «это тоже клад русской натуры: крепкое сложение наше, здоровые легкие! Какой другой народ способен перенести разницу температуры в сто градусов, оставаясь жизнеспособным, бодрым, играя с лютым морозом и со жгучей жарой! Прав был старый, вшивый Суслик... И пусть клад Мамая и «золотая женщина», среди его богатств, продолжают спокойно отлеживаться в песках каспийских степей, — нет счастья в них, нет в них покоя! Доберется, может быть, ловкий татарин до этого клада или до кубышки деда, да не пожалел бы он потом о своей удаче! Счастье — не в деньгах, а в нас самих, в богатстве родины да в возможности работы на благо наших ближних.»

Удивил Зорина и «Двенадцатифутовый Рейд», конечная пристань речных пароходов волжской системы. Происхождение его объясняется так. С развитием навигации и увеличением грузоподъемности су-

дов, морские пароходы не могли подойти к Астрахани, из-за недостаточной глубины фарватера дельты. Речные плоскодонные суда, в свою очередь, не могли итти морем, опасаясь бурь, в силу своей неустойчивой конструкции. Для перегрузки речных судов и шаланд на морские и обратно — морских на речные, и образовался в море, в сотне верст от берега, пловучий город, на глубине приблизительно, двенадцати футов, отсюда и его название. По количеству судов Астрахань — один из величайших портов мира; обмен грузов на «Двенадцатифутовом Рейде» огромный, этого требуют и переливка нефти из Баку для России, и перегрузка леса с Камы и Волги для Персии, зерна для Туркестана. На «Рейде» среди моря стояли пловучие пристани, склады, сотни судов на мертвых якорях. Были там пловучие магазины, церкви, пекарни, врачи, гимназии, театр. На «Рейде» жили десятки тысяч людей, росли, учились, работали, умирали. Встречались даже такие жители-оригиналы, которые никогда не съезжали на землю, даже не видели ее. Внутреннее сообщение поддерживалось лодками, на них переправлялись с одного судна на другое, ездили в гости, в церковь, венчались, хоронили. В хорошую погоду жизнь там была своеобразная, однако — сносная. Но когда начиналась волна, а то и буря, надо было быть настоящим моряком, чтобы жить в этой «Русской Венеции».

Как раз недалеко от пристани, где на палубе па-

рохода стоял Зорин с «черкешенкой», в ожидании возвращения в Астрахань, собирался в путь персидский «Мешхед», догружался. Его паровые лебедки пыхтели, таская грузы зерна и леса, персы-матросы в своих живописных костюмах кричали, бегали взад и вперед по судну.

— Вира! — слышался голос старшего, и груз подымался на воздух.

— Майна! — груз останавливался, качаясь на тросе; раздавались сердитые возгласы, и груз проваливался внутрь парохода.

— Василь Васильич! — Зорин услышал знакомый голос: — Куда вы? С кем это вы?

На борту «Мешхеда» Зорин с удивлением узнал Хаесимова, в новом костюме, в шляпе. Татарин был доволен встрече, удивлялся случаю, махал руками, одобрял, что студент продал карьер и уезжает учиться в Петербург.

— А вы куда? в Персию?.. Что будете там делать? бурить? воду искать?

— Весь инструмент с собой везу! — доносился голос татарина: — Там с водой тоже не сладко. Чей инструмент?.. Да мой собственный, я компаньона достал.

Сложа руки рупором, Зорин кричал татарину ответы, сообщал о знакомых по Эльтону, припомнил и субботника.

— Ржаной рассказал мне про кубышку деда... Он на вас думает. Я и крышку видел! Интересная...

— Свихнулся ваш Ржаной... С ума спятил. По следам деда пошел.

— Я так и думаю. А Мамая? бросили?

— Пришлось отложить... Жить надо. Хорошая работенка подвернулась, я и еду в Персию... Как нибудь потом.

— Не разуверились?

— Нет!.. Впрочем, там что-то неладное... Я ли в отсчетах сбился или грамата наврала — а привела она меня прямехонько к вашему карьеру. Снова начинать надо, а это — опять полтора года! Поработаю в Персии пока, надо стать на ноги, опериться...

— За Мамая позже приметесь?

— Доведется — понятно!

Говоривших отделяло большое расстояние, шум лебедок мешал, да и говорить-то было не о чем. Попрощались знаками, — пароход студента уже отходил.

С последним пассажирским рейсом, борясь со льдинами, Зорин добрался через несколько дней до Саратова, откуда и уехал сейчас-же в Петербург

Новые интересы, новая жизнь захватила его там, в особенности потому, что сложилась она совсем не так, как он предполагал. Весь капитал его, заработанный в карьере на камне неизвестного происхождения, пропал без остатка! По неопытности ли или по странной случайности, Зорин поместил его в крупное строительное общество, которое вдруг лопнуло и лопнуло так, что кредиторам и вкладчикам не

вернулось ни копейки. Из богача студент стал нищим! Яма донских казаков не принесла ему ни золота, ни счастья, — хорошо еще, что не задавила его самого...

Пришлось начинать сначала, уже в Петербурге, учась в Институте и работая на стороне с утра до ночи, не покладая рук. Не обращаться же было к отцу за помощью! На Эльтон Зорин больше не попал, да некогда было ему и интересоваться тем, что стало с его бывшим карьером, заговоренным когда-то шаманами.

По окончании Института, судьба забросила его молодым инженером на Дальний Восток, откуда, спустя несколько лет, его отправили в заграничную поездку. Тут его захватила война, а потом и революция. Не довелось ему никогда встретиться с большинством из тех, с кем он работал когда-то на Эльтоне на заре своей деловой жизни.

XXVII

Двадцать с лишним лет спустя, пожилой русский инженер Зорин, когда-то практикант на постройке астраханской дороги, сидел в своем «бюро» в Париже, на улице Вольнэй, недалеко от Больших бульваров.

Сколько воды утекло за эти годы! Сколько труда, разочарований выпало на долю всех русских, скольких родных и друзей лишился каждый, сколько огорчений свалилось на плечи эмигрантов!

Правда, жизнь для Зорина сложилась случайно лучше, чем для многих других. Еще до войны, он был командирован за-границу, состоял при посольстве в Париже — в Россию так и не попал, не видел на родине ни ужасов конца войны, ни революции. Русская трагедия прошла перед ним, как какое-то длительное землетрясение, разорив его матерьяльно и заставив перестрадать далеко от отечества, быть может — и сильнее, все, что там случилось, без всякой возможности чем бы то ни было помочь своим близким.

Государственную службу он потерял, — империи русской не стало, — потерял все, что имел в России; пришлось поэтому заниматься во Франции тем, что подвертывалось, главное — поставкой французских матерьялов в новые страны, входившие ранее в состав Российской империи. Дела его распростра-

нились потом и дальше, на южную и центральную Америку, Азию, — он оказался случайно в числе немногочисленных русских, преуспевших в изгнании...

Телефонный звонок из персидского посольства в Париже известил неожиданно Зорина, что его хотели бы там видеть и как можно скорее. Через пять минут он был у посла, которого знал раньше — не раз любовался его замечательной коллекцией старинных ковров и тканей: Саад-Хан слыл, по справедливости, одним из лучших знатоков восточного искусства, умел «читать» рисунки ковров, сочетания красок, мог определить эпоху старинной персидской вышивки.

На этот раз оказалось, что дело шло не об искусстве, а о прибывшем в Париж персидском принце, родственнике шаха. Принц приехал в Европу со специальной миссией, занимался осмотром фабрик и хотел поговорить с русским инженером, который, по словам посла, был в курсе производств, необходимых для обороны Персии.

Принц, — молодой, но уже в чине генерала, — говорил по русски, как русский. В конце разговора о технических вопросах, Зорин спросил у него, каким образом он так хорошо овладел этим трудным языком.

— Очень просто! Я воспитывался в Пажеском корпусе, служил затем в гвардейской артиллерии, кончил и Михайловскую артиллерийскую академию...

У собеседников оказалось вдруг и общее петербургское прошлое. Нашлись и общие профессора, и знакомые по Петербургу, — разговор принял товарищеский характер.

— В моей миссии, — добавил принц, — не один я владею русским языком. Мой адъютант одинаково хорошо говорит по русски и по французски: он кончил здесь политехническую школу. Родители же его из России, — ведь там было не мало персов, на юге, на Кавказе... Побеседуйте с ним, мне, к сожалению, пора в министерство.

Капитану Кассиму, адъютанту принца, было, как и генералу, далеко до тридцати. Что-то знакомое почудилось инженеру в лице и в фигуре молодого перса, брюнета небольшого роста, плотного, широкоплечего, с чертами лица еле заметного восточного типа. Он с большой охотой говорил по русски и задержал Зорина в посольстве, когда технические вопросы были исчерпаны.

— Мои родители переехали в Персию еще задолго до революции, — пояснил он в конце беседы: — Было мне тогда года четыре, пять... Россию я почти не помню. Отец долго работал там где-то на юге, затем переселился в Персию, он был магометанин. В Тегеране он создал крупное предприятие по постройкам, но десять лет тому назад скончался. Теперь его предприятие принадлежит моей матери и мне, но я избрал военную карьеру, предпочитая не иметь дела с рабочими, их психика мне непонятна. Сейчас я состою при принце; затем

думаю получить, благодаря знанию языков, назначение военным агентом куда-нибудь, может быть — во Францию или в Россию. Русским я владею с детства, да и в Тегеране русская колония не маленькая, поэтому-то я и не разучился говорить по вашему.

— Не работал ли ваш отец на постройке астраханской железной дороги?

— Не знаю, может быть. В городах России и ее железных дорогах я разбираюсь неважно, разве в тех, что на Кавказе и в Туркестане. На постройке астраханской дороги, говорите?.. Возможно, это дело было специальностью отца.

— А не говорил-ли вам отец когда-нибудь о кладах в России, о старинных монетах?

Капитан удивился, помедлил...

— Говорил, и не раз... Он был большой любитель археологии, — капитан задумался: — Почему вы спрашиваете? Сами любите эту науку? Значит, мы — «одного поля ягода», как говорят у вас. Отец мой, действительно, занимался в Персии раскопками... У нас, особенно на юге, археологических ценностей очень много. История Персии, как вы знаете, чрезвычайно богата; страна подвергалась опустошениям столько раз. Войны с Индией, с Европой, с монголами, набеги турок... Развалины, памятники старины повсюду. Отец был богатым человеком, много тратил на раскопки, — кое-что ему и удалось найти, даже весьма ценное для истории иранской культуры. Его коллекция старинных золотых монет одна из луч-

ших, она сейчас у нас. Отец подарил мне, кстати сказать, когда я еще был кадетом, одну монету на счастье, — она-то и принесла ему, как он говорил, удачу в жизни. С этой монетой я не расстаюсь — она и сейчас со мной... Видите, вот она — монгольская, тринадцатого века. Чеканили ее, думается, в Персии или в Китае, надписи — на трех языках, у монголов своего письменного языка не было.

На золотой цепочке капитана висел золотой кружок на припаянном к нему ушке. С первого взгляда Зорин узнал в ней точно такую же монгольскую монету, какую показал ему когда-то субботник Ржаной в конторе участка линии на Эльтоне.

— Интересная вещь! — воспоминания молодости нахлынули на Зорина, да так внезапно... Перед ним был сын его прежнего подчиненного Хассимова... Сомнения в этом быть не могло!

— Страсть к археологии, представьте, перешла от отца ко мне, — капитан не замечал волнения собеседника: — Свободное от служебных обязанностей время я посвящаю этой науке и надеюсь дойти до интересных результатов. В Париже я тоже не теряю времени. Как раз сейчас я от издателя, специалиста по археологии. Купил я там новые книги, которых в Тегеране еще не получали. Смотрите, до чего додумывались люди тридцать веков до Рождества Христова, тому пять тысяч лет! Как умели они хитрить, на какие тонкости пускались, лишь бы предохранить гробницы владык от грабежа, от поругания!

— Большого труда, капитан, в этом не было. Хо-

ронили они своих властителей, как египтяне фараонов, в скалах, производили огромные работы; бывало — достигали результата, но далеко не всегда: большинство гробниц ограблено, останки их — в Лондоне, в Париже.

— Да, но если в Египте были скалы, то в Месопотамии — пески, мягкий грунт. В нем и приходилось хоронить усопших и зарывать погребальные сокровища, да зарывать так, чтобы предохранить от хищений. А это было еще труднее! Иногда и удавалось, но ценой какого усилия, каких ухищрений! Все же немало гробниц сохранились нетронутыми и до сей поры. Кстати — вот книга о последних итогах раскопок забытого города «Мари» в Малой Азии. Некий французский археолог работает там уже с десяток лет. Ему и удалось найти в голой пустыне нетронутую гробницу. Посмотрите, на какую хитрость пустились древние! В данном случае — она достигла цели.

Капитан разложил на столе только что разрезанную книгу с фотографиями раскопок и планами построек, посвященную мало-известному городу «Мари», следы которого были утеряны до самого последнего времени, и обнаружены были фотографическими снимками с аэроплана.

— Как сумели тогдашние архитекторы справиться со своей задачей — гробница оказалась лучше несгораемого шкафа! Видите, кругом голый песок, степь; в глубине каменная кладка; лестница ведет вниз, к погребальной плите... Посмотрите на ее раз-

меры, на вычеканенные когда-то надписи. Их металл украден. До плиты грабители добрались, но с каким трудом. Плиту разбили, а под ней — ничего! Поиски и бросили. Не поняли варвары, что их навели умышленно на ложный путь... Чем? Кладкой, лестницей, плитой! Гробница фараона с его золотой маской, драгоценностями и всем, что ему могло потребоваться в загробной жизни, была тут же, в десяти метрах!

Зорин слушал, смотрел на фотографии, на планы...

— Скажите... капитан... — с трудом выговорил он, еле скрывая свое волнение, — не было ли у вашего отца старинных ожерелий в его коллекции? колье?

— Колье? — удивился капитан: — Почему вас это интересует? И откуда вы знаете? Принц вам сказал?.. Были. Есть и теперь, да вот одно из них.

Из бокового кармана он вытащил плотный конверт и из него — ожерелье крупного жемчуга, но потухшего, матового блеска.

—Я как раз с рю де ла Пэ, видел там специалистов по жемчугу и, подумайте, какое горе! Это колье, мне сказали, хранилось в условиях, неблагоприятных для жемчужин, без воздуха, без света. Жемчуг умер! Вы знаете, он — живет и даже выглядит различно в зависимости от того, кто его носит, к какой коже прикасается. Но это не существенно, — важно, что блеском и красотой обладают лишь жемчужины живые. В моем колье одна только и сохранилась, да и то не вполне, — капитан показал крупную жемчужину замечательной красоты, но с белым пятнышком на одной стороне. — Смерть тронула и эту, все же она

представляет ценность. Остальные, а их тридцать шесть, — лишь воспоминание о моем отце! Я пытался найти и у нас, и в Индии специалиста, чтобы оживить их, да безуспешно. Надеялся на Париж, но и тут говорят одно и то же... Правда, у старинных жемчужин и другой недостаток — плохие отверстия: в старину не имели хороших инструментов и просверливали варварски.

— Позвольте, капитан, мне вас немного утешить: умирание жемчуга — явление не редкое! Хороший мой знакомый, итальянский ученый, получил как-то наследство — старинный дом в Трапани, где таились когда-то пираты Средиземного моря. В Сицилии профессору рассказали, что этот дом принадлежал пиратам и в нем замурован клад. Профессор поверил, нанял рабочих, разобрал постройку по камню и, представьте, нашел металлическую шкатулку, а в ней золотые монеты и жемчужное колье! Я сам это ожерелье видел, когда пришел с моим приятелем-профессором. Разложил профессор жемчуг, — такого же оттенка, как и ваш, — а флорентиец закричал в ужасе: «Джеттатура, джеттатура!» — и два пальца профессора, я с удивлением заметил, немедленно опустились вниз, как громоотвод. Образованность, видно, не устояла перед вековыми поверьями.

— Эти предрассудки распространены и у нас, — капитан перебирал одну за другой мертвые жемчужины, как бы стараясь понять причину их смерти.

Зорин продолжал рассматривать в книге археоло-

га планы и фотографии. Пелена сорвалась с его глаз, прежняя каспийская тайна раскрылась! Он понял вдруг то, чего не знал, когда в начале своей деловой жизни работал в степи, около Эльтона.

— Вы сказали, капитан, что ваш батюшка скончался?.. Убит? Кем? За что?..

— Совершенно непонятно. Врагов у моего отца не было и не могло быть... Убил его, без всякой причины, какой-то русский, рабочий, вероятно — сумасшедший... И что самое удивительное — человек старый, весь в морщинах! Его тут же и прикончили... Никто в Тегеране убийцы не опознал, даже имя его осталось неизвестным...

XXVIII

«Счастье мое», думал Зорин, выходя из персидского посольства, «что все мы тогда оказались глупее проницательного французского археолога: и мысли у нас не было, что плита в карьере на Эльтоне положена умышленно, что надписи на ней и лестница устроены нарочно, чтобы сбить с пути искателей клада. Не заговор, не шаманы, а ум архитекторов древности спасли тогда сокровища монголов и эллинскую богиню Победы от человеческой алчности. Умеет же хитрая лиса навести охотника на ложный след! Семь веков назад монголы просто-на-просто прибегли к испытанному средству своих учителей-персов, а те применяли его еще за тридцать веков до Рождества Христова!.. Условия же местности те же: песок да голая степь, и цель одинакова — спасти драгоценную память предков или заветные сокровища от грабежа и от любопытства последующих поколений... Вот и сумели в четырнадцатом веке зарыть клад Мамая, да запрятать так, что мы были совсем близко, ходили, быть может, по нем, рыли, а ничего не нашли... А кто и когда закопал другой клад, кубышку Деда, из-за которой тот и рехнулся, этого я не знаю... Но хитер же и ловок оказался папаша персидского капитана, покойный Хассимов! Кубышку-то Вшивого Деда он, как и уверял Ржаной, нашел; сумел перевезти золотые монеты и через

границу, под носом у таможенных чиновников. Вез он свою находку, очевидно, вместе с буровыми инструментами, трубами, штангами, когда я встретил его на «Двенадцатифутовом Рейде». Работать в Персию ехал он, понятно, для отвода глаз; там и сбыл монеты, уж не боясь вмешательства нашей полиции. Принял потом и персидское подданство, порвал, значит, с Россией, но вернулся ли он на Эльтон, чтобы забрать клад Мамая, отыскал ли он и его, или же смерть помешала? Сумел он и дело создать в Персии, стал там богат и знатен — да не учел Хассимов мстительности русского человека, хоть и молоканина, субботника! Убил его, разумеется, Ржаной: отыскал тот его и через десять лет!

Но отыскали ли наши наследники, большевики, клад Мамая, если не увез его Хассимов, — появились ли снова на свет Божий сокровища Китая, Персии, России, спрятанные когда-то монголами, — это вопрос!

Зорин расплатился с шофером такси, который довез его до конторы, поднялся по лестнице.

Сильно постарел за эти двадцать с лишним лет инженер Кузьмич; он как-то съежился, стал еще меньше ростом, кудрявые волосы залились серебром, но — тот же маленький нос пуговкой, всегда почему-то воспаленный, на кончике красный, то же несуразное пэнснэ на нем, те же серые, с удивлением рассматривающие окружающее, детские глазки.

Не пережила гражданской войны в России Степановна — скончалась на юге от брюшного тифа... Как удалось выбраться Кузьмичу из взбаломученного русского моря, одинокому, беспомощному, не имевшему представления о жизни и ее треволнениях, он сам не отдавал себе отчета, — стихийные волны, казалось, выбросили его, как и многих других, через Константинополь в Сербию. Зачем? Не понимал он и этого, да так до конца своей жизни и не понял, как не поняли того и тысячи ему подобных. Не мало лет оставался он затем в братской стране, служил там, пробивался, в математике искал забвения, особенно в геометрии Лобачевского, в теории относительности Эйнштейна, последователя Лобачевского (по уверениям Кузьмича), да в других научных трудах, когда те попадались ему под руку...

— Вы спрашиваете — отыскали ли? — говорил Кузьмич, покачиваясь, как и в прежние годы, на задних ножках стула, выслушав рассказ о забавной встрече Зорина с сыном их бывшего сотрудника: — Может, большевики и нашли сокровища монголов, если искали их, но зачем им было искать? К чему им, в самом деле, этот злосчастный клад? Какую ценность представляют для большевиков какие-то тонны золотых монет, утварь старинная, ризы икон? Что им килограммы драгоценных камней, жемчуга, изумрудов, да еще плохой грани? Даже эта золотая статуя богини, которая вас так интересует, и другие дары и подношения генуэзцев, пап, Византии?.. К чему большевикам все эти ценности лю-

дей первобытных, такие ничтожные по сравнению с кладами, с сокровищами русской земли и природы, как говорил вам когда-то Вшивый Дед, с теми сокровищами, которые русский народ увидел теперь вокруг себя и мимо которых так беспечно проходили наши предки и мы сами? Мы и видели эти дары природы, знакомились с ними, изучали, да смотрели на них частенько, не как на сокровища родной нам земли, а как на наказание Божье, принимали их за одну из причин отсталости русского народа. В недрах земли, зачастую на небольшой глубине, новое правительство-народ сам, обнаружил после тщательных и научно-организованных исследований такие залежи богатств, которые на сотни лет вперед ставят родную землю во главу почти всех стран света по богатству запасов угля, металлов, нефти, золота... Только теперь поняли у нас значение водной системы нашей огромной страны, сумели оценить природные препятствия и осилили их, благодаря неисчислимым жертвам, бесконечному труду и огромным затратам! Русский народ стал хозяином водных богатств своей страны, углубил реки, соединил их, когда это было необходимо, выправил их течение и сделал центр России морским портом, чтобы облегчить распределение природных богатств ее и улучшить условия жизни десятков миллионов людей.

Степи, заброшенные раньше, Туркестан, закаспийские, каспийские, выжженные солнцем, теперь орошаются; тундры выжигаются, очищаются, вновь ожи-

вотворяются лучами солнца. Земли, чуть ли не от Северного полюса до Индии, вспахиваются, целина поднимается, и поднимается не прежней допотопной сохой и несчастным лапотником и клячей «тосканской породы», — потому что ее весной из конюшни за хвост «вытаскивали», — а мощными тракторами, сотнями тысяч, скоро миллионами тракторов своего же, родного, изготовления.

И чего только ни произрастает на этой девственной, когда-то убийственной, — то по отсутствию влаги, то по ее излишку и по недостатку обитателей — чудодейственной почве: хлеба всех видов и родов, богатые глюкозой, фрукты, многие из которых раньше и не были знакомы человечеству, хлопок — единственный в мире по качеству и по окраске, чай, каучук, металлы всякие! То, о чем всего лишь два десятка лет раньше нельзя было и мечтать, что казалось нам несбыточным, утопией....

И главный клад — сам русский народ, забытый и забитый, отстраненный от созидательной жизни, народ прозябавший лишь как безсознательная рабочая сила... Как былинный Илья Муромец, пролежав в бездействии тридцать лет и три года, этот народ вдруг стал на ноги, расправил свои могучие плечи... И полетели все преграды, запоры, препятствия, натуральные и искусственные, на благо всех. Да, на благо! Станет наша родина обширнее, могучее, богаче. Дрожать перед ней будут соседи ее, соперники... Но станут ли русские люди от этого счастливее, будут

ли они жить веселей, свободнее, подобреют ли сами-они — это вопрос!

Кузьмич задумался, затягиваясь папироской; усталость, годы, разочарования, бесцельность дальнейшей жизни — давно уже подкашивали его слабые силы. Вся жизнь его была там, на родине, все мысли его, все желания — в России! Здесь же бессмысленное, повседневное прозябание, неизвестно для чего и для кого, да непонятно, собственно, и по какой причине, по чьей вине...

— Вы правы, мне кажется, Кузьмич, старый вы философ, — прервал Зорин молчание, припомнив собственные мысли когда-то там, в устье Волги, когда он на короткое время стал неожиданно богат, в расцвете сил и молодости: — Большого интереса в кладах нет, в матерьяльных, понятно, но подумать только, что было бы со мной тогда, на эльтонском карьере, если бы отыскался этот злосчастный заговоренный клад Мамая? Ведь были-то мы от него, мне думается, в нескольких метрах!

— «Глупость выручает иногда даже умного человека», сказал какой-то философ. Припомню сейчас его имя, — и по старой привычке Кузьмич теребил остаток своих серебристых кудрей, да так и не вспомнил.

Конец.

Impr. de Navarre, 11, rue des Cordelières, Paris.